Светлана Ильина

Скажи мне путь



Светлана Ильина

Скажи мне путь

«Автор»
2025

Ильина С. В.

Скажи мне путь / С. В. Ильина — «Автор», 2025

Роман, словно машина времени, отправляет нас вместе с героями - русским офицером, есаулом и молодой женщиной - в смутное, трагическое время гражданской войны. Перед каждым из них встаёт выбор: поступить по совести или подчиниться велению времени? Долг и любовь разрывают их сердца на части. Тяжелейшая эпоха перемен в России разрушает традиционные ценности, обнажает порок и навязывает новую мораль.В такое время каждому хочется найти свою дорогу. Совесть, любовь и Бог всегда указывают путь. Кто его найдёт, тот обретёт и земное счастье.

© Ильина С. В., 2025
© Автор, 2025

Содержание

Предисловие 5
Пролог 6
Глава 1 8
Глава 2 15
Глава 3 22
Глава 4 25
Глава 5 30
Глава 6 36
Глава 7 42
Глава 8 46
Глава 9 51
Глава 10 54
Глава 11 58
Глава 12 64
Глава 13 68
Глава 14 71
Конец ознакомительного фрагмента. 75

Светлана Ильина
Скажи мне путь

Русским казакам посвящается

Предисловие

Друзья, мне захотелось написать несколько слов о реальных и выдуманных героях моего романа.

Высокая, сильная любовь, о которой мы любим узнавать из книг, без сомнения существует на самом деле. Об этом говорит и мой личный опыт, и потрясающая книга *"300 писем расстрелянного есаула"* Е.Колпиковой. Отрывки из этих писем есаула Александра Упорникова к своей жене я поместила в эпиграфы к некоторым главам, чтобы вы восхитились вместе со мной и не обвинили меня в том, что я преукрасила своего героя Егора Левченко, такого же есаула Войска Донского.

Каким бы ни увлекательным получился сюжет моей книги, нет ничего дороже истинных, глубоких чувств реального человека. Нет ничего ценнее Правды, а истинная Любовь и есть Правда.

Читая эти удивительные по нежности и глубине послания к своей жене А.Упорникова, меня не покидала боль, что революция не пощадила его. Но, к счастью, в действительности многим казакам всё же удалось спастись. Я думаю, что Господь их спас за веру Христову. Обо всём остальном вы сделаете выводы сами. И вместо долгих слов от себя я предлагаю вам прочитать мудрые и добрые слова святителя Николая Сербского.

Его мысль коснулась нашей истории, одного из самых тяжёлых периодов двадцатого века – Революции и Гражданской войны – и звучит как утешение от Самого Господа.

"Разве Россия грешнее всех других стран, что несёт тяжелейшие страдания?.. Подобно тому, как Силоамская башня рухнула на бедных галилеян, и современная башня всех лжеидей рухнула на великий русский народ. Чтобы род человеческий увидел это и отрезвился от пагубных и разрушительных теорий… Я словно сейчас слышу предостережение Христово нам: если не покаетесь, все так же погибнете (Лк. 13:3)

Мы считаем и верим, что Творец попустил великому русскому народу огонь страданий не для того, чтобы наказать и истребить его, но чтобы этим страшным примером предостеречь и вразумить другие народы, а сам русский народ вовеки прославить пред землёй и небом".

Помолимся, друзья, чтобы так и стало.

Ваша С.Ильина.

Пролог

“Поклоны мои земные дайте Земле Казацкой, Донскому Войску, Батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, Степи широкой.

Поклоны мои земные друзьям-братьям, злою неволею погибшим, кому могилы не дадено, а пылью-прахом неведомо где ложатся. Поклонитесь от меня Крестам на погосте, вербам, дорогам… и всем родным, вживе которые остались, молодого Казака не забыли…”

(И.Шмелёв “Письмо молодого Казака”)

Напряжённая тишина предваряла службу. Генерал стоял под сводами Феодоровского собора и рассматривал большую икону русских князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Сегодня день их памяти, и Государь решил представить Наследника казачьему войску. Ничего необычного, однако странно, что Николай Александрович выбрал именно этот день.

Генерал снова взглянул на старинную, потемневшую от времени икону. Чуть удлинённые, иконописные глаза князей, казалось, следили за ним. Куда бы он ни встал, всюду чувствовал внимательный взгляд святых. Поморщившись от глупых мыслей, генерал решил, что лучше ещё раз проверить – всё ли в порядке с казаками. Однако те в проверке не нуждались – затаив дыхание, все ждали Государя по стойке смирно.

Тихо потрескивали свечи. Батюшка помахивал кадилом, и сизый дымок медленно плыл мимо тускло-золотого иконостаса. От дыхания людей трепетали лампадные огоньки перед иконами. Святые мученики и преподобные, жившие давным-давно, готовились молиться с ныне живущими.

В проёме показался невысокий Государь, в военной форме, с двухлетним цесаревичем Алексеем на руках. Молебен начался.

– Святии мученики Борисе и Глебе, молите Бога о на-а-ас! – как сквозь туман доносилось до генерала. Он ощущал себя будто во сне или, скорее, на небе – странное чувство нереальности происходящего не оставляло его.

– Молитеся о державе сродников ваших богоугодней быти, и сыновом Российским спастися…

– Ами-инь, – дружно гудели казаки.

Последнее благословение батюшки Помазаннику Божьему и новому Шефу Атаманского полка – цесаревичу Алексею. Государь с Наследником пошёл сквозь строй казаков, вытащивших шашки наголо. Августейший ребёнок, сидящий на руках отца, большими серыми глазами доверчиво и с любопытством взирал на бородатых казаков. Николай Александрович шёл неспешно, иногда останавливаясь, чтобы поздороваться или просто улыбнуться старым знакомым. Но генерала беспокоило не это… Что с его прославленной сотней? Почему шашки наперевес качаются?

От позора перед царём прошиб пот. Неужели устали стоять? Разморились? Этакие бабы! – клокотало в душе.

Государь приближался всё ближе и ближе. Серебряный штандарт с чёрным двуглавым орлом вдруг нагнулся перед Наследником.

Да что происходит? – с паникой в душе генерал бросил взгляд на вахмистра, красавца-бородача, потом на строй: по лицу казаков текли крупные слёзы…

– Благодарю за службу, генерал, – совсем близко раздался голос Царя.

Генерал взглянул на Николая с маленьким цесаревичем и обомлел: на него смотрели те самые, иконописные, глаза Страстотерпцев.

Глава 1

Люба с досадой захлопнула окно. Задержалась в “хвосте” за хлебом и не успела до дождя. Тот, казалось, только и ждал её оплошности – косыми прозрачными нитями ворвался в комнату, и теперь с обшарпанного, давно не крашенного подоконника стекали тоненькие ручейки.

И всё-таки это была её любимая погода. Люба обожала дождь – где бы она ни находилась, он ей напоминал Питер. Быть вдали от родного города для неё всегда было испытанием, но сегодня они с братом уедут в далёкий, уже, наверное, по-летнему тёплый Киев. Там их ждёт отец. И хотя Люба невыносимо устала и от работы в госпитале, и от споров с младшим братом, и от борьбы за существование, уезжать из Питера не хотелось. В наступившей сумеречной тишине, нарушаемой лишь шумом дождя, остро почудилось, что она прощается со своей родиной, со своим прошлым, со всем-всем – навсегда…

Глядя на пустынную улицу, Люба механически достала из старенького домашнего платья пачку папирос и привычно затянулась. Карман совсем порвался от ветхости. Рвались и рукава. Никакие заплаты не выдерживали её костлявых и острых локтей.

– Любанька, ты совсем отощала, – причитала над ней тётя Катя, папина сестра, когда приезжала из Киева в последний раз, – ты, что ли, девка, замуж не хочешь? Кто тебя такую тощую в жёнки возьмёт? Или ко мне в монастырь собралась?

Люба и сама замечала, что от постоянного голода в последний год исхудала так, что и без того большие глаза стали походить на кофейные блюдца из семейного сервиза. Не похудела только толстая коса. Мелькнула мысль: а не отрезать ли её перед дальней дорогой? Но нет, жалко. Если подстричь густые пшеничные волосы, то не только тётка, но и отец расстроится.

В темнеющем окне всё чётче проявлялось её отражение. Смешило, что выглядела она совсем худенькой девчушкой, зато с папироской в руках. От усмешки проявилась мамина ямочка на щеке. Маминими были и серые глаза, и живой характер, слишком подвижный – то смешливый, то слезливый.

Люба носом выдохнула дым и ловко стряхнула пепел в осколок разбитой чашки. Дождь прекратился. Из разорванной тучи робко пробился лучик закатного солнца, и на худой кисти Любы тускло блеснул серебряный браслет. Снять или оставить? Снимать жалко – подарок жениха, поручика четвёртого Уланского полка, Михаила Столетова. Господи… как он там? Жив ли? Писал исправно до недавнего времени, а теперь пропал. Сердце сжалось от плохих предчувствий.

Папироса на голодный желудок вызвала тошноту. Затушив её, Люба села рядом с окном и стала выглядывать на улице младшего брата.

Шурка, мальчуган десяти лет, тоже не хотел уезжать. Ему нравилось жить с сестрой, потому что её можно было не слушаться, как отца или мать, пока она ещё была жива. Он отстаивал свою свободу, шастая после гимназии с компанией таких же сорванцов по переулкам возле Сенной, и не боялся ни шпаны, ни авто, ни бродячих собак, которых развелось видимо-невидимо. За него боялась Люба. Сама виновата – разбаловала парня.

Но как же можно было не баловать сиротинушку? – повторила она про себя тёткины слова. Вообще-то они с Шуркой дружили – тот её смешил своими детскими высказываниями. Когда она доказывала, что есть такое слово *“надо”*, то в ответ слышала, что есть и слово *“не надо”*. С умным не по годам братом спорить было сложно. Ей оставалось только поощрять его хорошие оценки сказками, которых знала бесчисленное количество, и сладостями… Правда, в последнее время вместо сладкого они почитали за счастье лишний кусок хлеба…

– Ну где же этот невыносимый мальчишка? – в сердцах вырвалось у неё, – просила же прийти пораньше. Господи, хоть бы с ним ничего не случилось! Надо же ещё успеть собраться…

Люба повернулась и посмотрела на два чемодана. Один, поменьше, она сумела закрыть. Большой придётся закрывать вдвоём. Брат прыгнет сверху на рыжую потёртую крышку, а Люба зажмёт стальные замочки. И не дай Бог чего-нибудь забыть… Как ни прыгай по нему, вредный чемодан может во второй раз и не закрыться.

В подъезде хлопнула дверь и послышались быстрые шаги по лестнице.

– Слава Богу, – прошептала Люба, бросаясь к дверям. – Шура, я же просила!.. Ты будешь меня слушаться или нет? Нам же собираться нужно.

Брат, среднего росточка, похожий на отца своими тёмными жёсткими вихрами и карими глазами, строго взглянул на неё, словно старший.

– А я просил тебя не называть меня Шурой! Я Саша, запомнишь ты это или нет? Са-ша…

– Может, по имени отчеству тебя звать? Александр Матвеевич? Куда бросаешь куртку? Иди мой руки… Что тебе не нравится в имени Шура? Так же мама тебя называла…

Брат снова ожёг её взглядом.

– Вот поэтому и не называй. Маме было можно, а ты мне не мать…

Это была последняя капля. Внутри что-то оборвалось, и мужество совершенно оставило её. Да, у них уже не было матери пять лет. Люба вдруг ощутила и своё сиротство, и одиночество, как несостоявшейся женщины, у которой пропал жених, и полную беспомощность в отношениях с младшим братом. От мысли, что у неё ничего в этой жизни не получается, она плюхнулась на кушетку в коридоре и, закрыв руками лицо, застонала:

– Го-о-осподи, да что же это… Как мне плохо-о… Я не хочу ничего-о-о… Ни ехать, ни работать, ни жить…

Плачь её был похож на бабий – тоненький и горестный. Горохом покатились слёзы, сразу омочив всё лицо.

Она считала себя сильной, когда лечила раненых, когда уговаривала их потерпеть, хладнокровно вынимая косточки из ран, когда сообщала страшную весть матери, до последнего надеявшейся, что её молодой сыночек поправится, а не умрёт от запущенной гангрены. Но можно сколько угодно притворяться сильной перед другими – себя обмануть нельзя.

В квартире прекратилось движение, и в следующий момент она почувствовала холодные руки брата, робко гладившие её по плечу.

– Любка, ты чего? – он шмыгнул сопливым носом, – ну, ты чего ревёшь, как маленькая? Я же здесь…

Она вытерла лицо ладонями и жалостливо всхлипнула, глядя на мальчишку.

– Здесь… А я перенервничала из-за тебя… Ладно, прости, что сорвалась.

– Ты меня прости, – насупившись, произнёс брат, – ну, если хочешь… можешь звать меня Шурой.

– А что у тебя под глазом, кстати?

Сашка снова шмыгнул носом.

– Подрался…

Люба вздохнула.

– Отлично. Твой вид будет отпугивать от нас бандитов в поезде.

Глаза брата загорелись.

– А там будут бандиты?

– Не знаю, но на всякий случай нужно набраться сил и поесть пшённой каши. Больше у нас ничего нет.

На этом и сошлись.

– А на чём мы поедем до вокзала? – с набитым ртом, спросил Сашка.

– Евгений Иванович, папин сослуживец, должен за нами заехать. Он нас посадит на санитарный поезд. Давай доедай, и будем закрывать чемодан.

Евгений Иванович, толстенький врач из той же больницы, где до отъезда работал и отец, взял в больнице авто и подъехал вовремя. Однако Люба с Сашкой ещё возились с проклятым чемоданом. Всё-таки пришлось закрывать его даже не один, а два раза, потому что Люба вспомнила про драгоценную коллекцию лечебных трав.

– Зачем тебе эти веники? – возмутился брат.

– Сашенька, прости, прости, но я же столько их собирала, а раненым они о-очень помогают… Давай, миленький, ещё разочек прыгни.

Брат, недовольно сопя, забрался на чемодан и прыгнул.

Наконец всё было собрано. Люба в последний раз оглядела маленькую служебную квартиру, перекрестилась на старинную икону и ахнула:

– А икону-то мамину забыли!

Когда и икона, и чемоданы были погружены в авто, в полной темноте, освещаемой только фарами, они наконец отъехали в сторону Невского проспекта. Евгений Иванович рулил, как заправский водитель, а Люба смотрела в окно и жалела, что в городе опять не было электричества, и она не может хорошенько попрощаться с любимым городом. Выручила северная белая ночь, которая так и застыла в виде сгустившихся сумерек.

Вот он – Питер, волшебный город, всегда живший своей тайной жизнью. Днём он снисходительно смотрел на суетящихся горожан. А вечером, когда улицы пустели, тут-то и проступало его истинное лицо – в сером камне набережных, таких же серых волглых облаках, плывших над городом, и стальной водой, вобравшей в себя, а теперь, как в мутном зеркале, отражавшей эпохи Петра и Меншикова, Елизаветы и Ломоносова, Николая Первого и Пушкина… Казалось, что людская суета никогда не затмит величие северной столицы. Ветер, всегда холодный и порывистый, загонял домой припозднившихся гуляк, а дождь нудно и кропотливо смывал следы дневной жизни.

Но в последние годы Люба с грустью замечала, как её родной город, ещё недавно живший в ореоле святости с приставкой “Санкт”, теперь, утратив её, утратил и свой облик. Раньше всегда можно было отыскать поэтичный, уединённый уголок для прогулки. Сейчас все уголки были загажены и разрушены вместе со статуями, клумбами и даже колоннами. Слишком много людей, слишком уж они агрессивны и неряшливы, а главное, слишком много ненависти вылилось на старинные улицы. Город ещё пытался бороться: смывал весенним дождём мусор с тротуаров, трепал дурацкие флаги демонстрантов, вырывал из рук листовки, и те летели, как чайки, прямо к воде… Но, в конце концов, он уступил, ушёл в прошлое. Степенный Петербург проиграл бурлящему, хамскому Петрограду. А тот, как неблагодарный пасынок, с остервенением, последовательно принялся рушить наследие отца.

– Любаша, вон наш поезд, – подбородком указал Евгений Иванович, запыхавшись от тяжёлой ноши, – сразу пошли в последний вагон.

Возле поезда толкались и кричали врачи и санитары, светившиеся в темноте белыми халатами. Перрон был заставлен чемоданами с красными крестами. Во все вагоны погружали раненых, а перед последним вагоном стоял кордон.

– Вот… вот наш пропуск сюда.

Евгений Иванович достал из внутреннего кармана смятую бумагу и протянул военному.

– Так… тут написано… Тихомирова Любовь Матвеевна и… Александр Матвеевич. А мальчика тут нет.

– Вы не поняли, – торопливо забормотал их добрый провожатый, – Любовь Матвеевна и Александр Матвеевич, брат и сестра. Вот они… А я только провожаю. Это дети нашего хирурга Тихомирова. Он ждёт их в Киеве. Позвольте, я занесу их чемоданы?

Военный сложил бумагу и вручил Любе, козырнув.

– Проходите.

Вагон был уже полон людьми, и у Любы мелькнула мысль, что придётся ехать в коридоре на чемоданах двое суток. Но Евгений Иванович, как опытная борзая, которая чует добычу, всё тащил их чемоданы по вагону, так что они едва за ним поспевали. Наконец у одного купе он остановился.

– Всё… Здесь свободна верхняя полка?

Кто-то в темноте утвердительно буркнул, и, крякнув от натуги, маленький и шустрый доктор закинул чемоданы наверх.

– Любочка, проходите сюда… А я убегаю. Передавайте привет Матвею Ильичу. Ах, да… Возьмите на дорожку от моей супруги… Прощайте, прощайте…

Люба поздоровалась со всеми сразу и огляделась.

На неё с любопытством смотрел мужчина лет тридцати, черноволосый, в модных очках, с клетчатым картузом, напоминающим довоенную вафлю, и с острым носом, которым он весьма выразительно двигал, будто принюхивался к ней. Напротив сидела немолодая супружеская пара – военный, с подвязанной рукой, и его жена, полноватая дама в чёрном шерстяном платье с меховой накидкой на плечах. В самый угол забился то ли от разговоров, то ли от любопытных глаз молодой послушник, тоже в чёрном одеянии, но с заплатами и грязным подолом.

Шурка уже полез на вторую полку. Она решила помочь, но в ответ получила грозное шипение, что он и сам не маленький. Быстро сняв свои влажные от бесконечных майских дождей ботики, Люба с отчаянной лёгкостью нырнула в темноту вслед за братом.

– Этот носатый, – зашептал на ухо брат, – похож на Пиноккио.

Она кивнула, улыбнувшись. Брат поёрзал и заснул, а Любе хотелось спать, курить и есть одновременно. Но первое победило, и она, запихнув под голову какой-то мягкий мешочек, тоже провалилась в блаженный сон.

Под утро ей приснилось, что она сидит за столом вместе с гостями отца – именитыми врачами. Мама всех угощает пирогами, и прямо перед Любой лежит румяный пирожок с капустой. М-м-м… Люба открыла глаза, но, о чудо, запах пирожка не исчез. Она пошарила рукой в изголовье – мешок… а-а, это же Евгений Иванович напоследок передал. Из него и пахло.

Боже, спасибо Тебе за этого человека, – прошептала Люба, догадавшись, что там внутри. В животе урчало от голода, но всё-таки сначала нужно было слезть, оправиться, а ещё… хорошо бы покурить где-нибудь. Дурацкая привычка, которая родилась после первых же операций, не оставляла её. Да и как можно было отвыкнуть от папирос, когда они хоть немного перебивали запах хлорки, крови и загноившейся плоти, преследовавшей её весь день? Отец, конечно, будет ругаться, если узнает, – подумала со вздохом Люба, спускаясь вниз.

– Доброе утро, господа, – поздоровалась она с попутчиками.

Их было больше, чем обычно, но не так много, как могло быть в другом поезде.

– Долго спите, мадемуазель, – с усмешкой произнёс после приветствия остроносый мужчина, – а мы уж тут гадаем, кого нам подселили.

– Теперь увидели? – сухо спросила Люба.

Она присела как можно дальше от любопытного попутчика и стала быстро заплетать косу.

– Конечно. Может, вы представитесь, чтобы мы могли как-то общаться эти двое суток?

– Любовь Матвеевна, а наверху спит мой брат Саша.

– Очень приятно. К вашим услугам Сергей Фёдорович Олейников, журналист газеты “Киевская мысль”.

– Штабс-капитан Сухомлинов… Анна Григорьевна, моя жена.

Все взоры обратились на монашка. Тот встрепенулся и хрипло пробормотал:

– Брат Иван.

– Видите, у нас теперь у всех общий брат, – сострил Олейников, но никто не засмеялся.

Любе брат Иван понравился больше всех своей скромностью. Именно такими в её представлении и должны быть монахи – незаметными и малообщительными. Люба и сама была верующей, в отличие от своих сокурсниц, которые всё время подшучивали над ней за то, что она каждый праздник бегала на церковные службы. Но если бы хоть кто-нибудь знал, как тяжело в тёмные вечера ждать где-то шатающегося без присмотра брата, то смог бы понять и её вопли к Небу.

Она молилась беспрестанно, с дерзостью, с отчаянием. И Бог всегда её слышал. После некоторых особо волнительных случаев Любе уже не требовались никакие доказательства. Она просто знала, что Бог есть. Единственным препятствием для общения с Ним было её курение. Каждый раз, раскуривая папиросу, Люба пыталась договориться с совестью. Однако та договариваться не хотела, и оставалось одно – давать и давать обещания Небу и самой себе, что всё-таки попытается бросить курить.

День покатился в разговорах и чаепитиях. Все делились своими скудными запасами, и больше всех доставалось Шурке. Тот сразу выболтал их биографию, и после того, как все узнали, что она хирург, взгляды, кидаемые Олейниковым перестали быть снисходительными. Но всё же ей не хотелось с ним общаться. Журналист раздражал своей провинциальной фамильярностью, которая редко встречалась в столице. Лишь в последнее время в Петроград понаехало так много деревенской публики, что истинные питерцы, с их внутренней деликатностью и закрытостью, стали редкостью. Люба вздохнула. Может, после войны что-нибудь изменится к лучшему? Деревенские в столице пообтешатся, Сашка вырастет и останется с отцом, а Люба сможет вернуться… Мечты, мечты…

На первой же большой остановке она вышла на перрон, чтобы покурить, и Шурка тут же увязался за ней. На перрон спустился и монашек.

– Осуждаете меня? – зачем-то спросила она, когда тот вдруг услужливо поднёс ей горящую спичку.

– Что вы, барышня, – пожал плечами худосочный монах, – не для того я в монастырь пошёл, чтобы других осуждать.

– А для чего? – машинально спросила она, следя за братом.

– Себя узнать получше.

– Вот как…

Монашек говорил с певучим южным выговором. Любе по нраву была его внутренняя тихость, и робкая улыбка, и даже худоба. При свете дня она разглядела, что глаза у него были синие-синие. А главное, он не смотрел на неё оценивающе, как мужчина, а скорее, извиняясь и пряча взгляд, как иногда смотрел Шурка в приступы редкого раскаяния за свои бесконечные шалости.

На перроне разговаривать не получалось. Их всё время толкали, что-то кричали через их головы, кто-то рядом стонал, кто-то плакал… В соседних вагонах снова происходила то ли погрузка, то ли выгрузка раненых. Тут же сновали бабки с пирогами и махоркой в самокрутках, а то и просто в мешочках. Запах сдобы перебивался табаком и паровозным дымом, отчего получалась странная, но соблазнительная смесь. Люба немного подумала и прикупила папирос и ещё пирожков с яблочным повидлом, которые обожал Саша. Монашек смотрел голодными глазами, Люба сунула и ему парочку.

Когда они вернулись в купе, разговор между Олейниковым и капитаном был в самом разгаре.

– Русский человек тем и прекрасен на войне, потому что смерти не боится.

– Да кто вам это сказал? – усмехнулся военный. – Вы сами-то хоть воевали?

– Не воевал, но полазил по окопам в первый год войны немало как корреспондент. Между прочим, записался добровольцем.

– Похвально. А чего же сейчас на гражданке? Надоело?

– Не обижайтесь за правду, господин капитан, – не смог выдержать окопную грязь и, простите, мадам, окопных вшей. Это выше моих сил.

– Так что же вы судите всех русских солдат, если всего лишь год выдержали?

– Да разве я не прав, ваше благородие? На лбу любого русского так и светится надпись: “Не поминайте лихом!”

Люба вгляделась в капитана. Весь он был какой-то бледный, словно его отмачивали в молоке. Нет, на его лице она не видела этой надписи, а, скорее, печать смертельной усталости. Ей даже жалко стало, что журналист пристаёт к нему с разговорами.

Олейников заметил её интерес к разговору и спросил:

– Что, барышня, вы не согласны со мной?

– Почему вы, журналисты, всегда за всех решаете, кто что думает?

– Потому что мы ощущаем общее настроение.

Люба покачала головой.

– Мне кажется, вы частенько одно преуменьшаете, а другое преувеличиваете… Зачем? Почему не написать, как есть?

– Э-э, видите ли, Любовь Матвеевна, правду-то никто не любит. Мы, журналисты, поэтому её и не пишем.

– Вот как? Это почему же?

В углу зашевелился монашек, и все посмотрели на него.

– Я знаю, почему. Правды люди боятся.

– Ну-ка, ну-ка, брат Иван, – журналист оживился ещё больше, разворачиваясь к нему, – расскажите-ка почему? Интересно, совпадёт ли у нас с вами мнение?

– Я вам восточную притчу расскажу, – глуховатым голосом предложил монашек. Никто не возразил, и он продолжил: – Один человек долго искал Правду по всему свету. Он состарился, превратился в немощного старика и почти отчаялся найти её, но вот однажды услышал, что Правда живёт в пещере на краю села. Местные пытались его отговорить, мол, там ничего нет, выдумки это… да и зачем нам Правда? Человек не послушался и всё равно пошёл туда. Посреди пещеры стояло что-то большое и высокое. Это было старое грязное зеркало. В нём ничего не отражалось, только темнота. Он решил его отмыть, но у него не было тряпки, а одежда была ветхая – рассыпалась в руках. Тогда, вытащив зеркало из пещеры, он стал тереть зеркало песком и просто руками. И вдруг… – монашек обвёл всех торжествующим взглядом, – из зеркала полился яркий свет. Глаза человека заслезились, его рукам стало горячо, но он всё тёр и тёр. В конце концов, жар стал невыносим. Человек отчаялся, отбежал подальше и заплакал – неужели он не увидит Правду после стольких лет поисков? Робко открыв глаза, он подошёл ближе, чтобы взглянуть в последний раз, и обомлел. Сияние из зеркала было ослепительно белым, но его глаза, промытые слезами, смогли выдержать этот свет. Человек наклонялся ближе и ближе…

– И что же он увидел? Себя в виде красавца-рыцаря? – вдруг насмешливо влез Олейников. Люба вздрогнула от неожиданности.

– Нет, он увидел небо, – спокойно ответил монашек, – бескрайнее, голубое, ослепительно-сверкающее небо.

– Получается, что Правда – это небо? – усмехнулся офицер.

– Нет, думаю, герою был указан путь, что искать её нужно именно там, – улыбнулся в ответ брат Иван.

– Эх, брат Иван, похоже, восточную притчу вы на свой лад переделали, – заметил журналист, – и стала она бессмысленной. Небесная Правда слишком высока, чтобы её заметили с земли. Нам нужна своя, приземлённая Правда, так сказать.

– Если земную Правду отделить от небесной, то, боюсь, что она превратится в Ложь.

– Ну-у, проповеди оставьте для своей будущей паствы, – подмигнул Любе Олейников, – а мы уж тут, в миру, своим умом жить приучены.

Только некоторым ума немного досталось, – про себя подумала Люба, имея в виду журналиста. Ей притча понравилась, хотя и немного разочаровала. Впрочем, чего она ожидала услышать? Как может выглядеть Правда?

Извинившись перед попутчиками, она полезла к спящему брату на полку. Шурка так умаялся, что заснул после пары пирожков. Устала и Люба. Дорога предстояла длинная, а жизнь ещё длинней. Нужно было набираться сил, а не расходывать их на пустую болтовню.

Глава 2

Петроград попрощался дождём, а Киев встретил их гостеприимным теплом. Выйдя из поезда, сразу захотелось улыбнуться приятному южному ветру и вдохнуть полной грудью.

– Мы на чём поедем? На трамвае? – Саша показал на трамвайчики, весело звенящие на лихом повороте, – а почему папа нас не встретил?

– Он предупреждал, что будет в больнице и придёт домой только в обед… Давай на коляске, я же не знаю, куда ехать. Извозчику адрес скажем – довезёт.

Люба во все глаза смотрела на город и чувствовала себя как в сказке. От брусчатки, от домов, от солнечных бликов на стёклах витрин исходило тепло, накопившееся за длинные дни. Улицы то поднимались, то спускались. Повсюду были сады, парки, скверики. В Питере только-только появились первые листочки, а здесь уже розовели цветущие вишни и тихо, будто запоздалым снегом, осыпались яблони. Какая красота! Между деревьями то тут, то там золотились купола древних церквей. Когда-то давным-давно по этим улицам ходили князь Владимир Красно Солнышко и Илья Муромец. Невероятно…

Однако, так же как и в Петрограде, здесь ощущалось военное время: тянулись очереди возле лавок, тяжело и недружно маршировали отряды солдат, заставляя дребезжать стёкла домов. Но в целом лица горожан были спокойнее, чем в бурлящей столице. Спокойнее стало и на душе Любы.

Шурка, сидя в коляске, всю дорогу вертел головой, показывая пальцем то на "босяков", спящих под тенью вековых лип, то на бездомных собак, выпрашивающих пирожки у торговок, то на мальчишек, гоняющих мяч по мостовой.

– Саша, куда ты смотришь? Вон Лавра, видишь? Там мощи твоего любимого Ильи Муромца лежат.

– А ты почём знаешь? Уже была?

– Не была, но это все знают, кто хоть немного историей интересуется. Я тебе сто раз говорила: читать надо больше.

Брат смешно наморщил конопатый нос.

– Опять воспитываешь… Скорей бы к отцу приехать.

– Думаешь, папа тебе поблажки даст? После смерти мамы мы его и дома-то не видели. Чувствую, всё опять на мне будет.

– Это в Петрограде, а здесь он писал, что квартира рядом с больницей. Операцию сделает и домой.

– Соскучился? – Люба потрепала непокорные вихры брата, – ничего, сейчас уже приедем.

Она тоже соскучилась по отцу. После его отъезда она часто ощущала себя одинокой. Среди студенток-однокурсниц преобладали революционные настроения. Они бурлили в молодых душах и выливались в бесконечные разговоры и дебаты. Люба была абсолютно согласна, что общество было устроено страшно несправедливо, когда одни студентки позволяли себе посещать театры по два раза в неделю, а другим не хватало денег на завтрак. Соглашалась и с тем, что в большинстве случаев виноват царь и правительство, которые ничего не делают для уничтожения этого неравенства. Но ей было некогда ходить на собрания или протесты. Останавливал и страх попасть в полицию на ночь или, не дай Бог, на несколько суток – с кем тогда останется Шурка?

После уроков и положенных часов практики в больнице она бежала домой. Брата дома не было, и после готовки, уборки и штопки изорванных коленок на брючках ей приходилось ещё бегать по дворам и с замиранием сердца искать Сашку, попутно вопрошая безмолвное Небо – за что ей такое наказание?

Слава Богу, теперь рядом будет отец, который (Люба от души надеялась) станет для Шурки авторитетом.

Трёхэтажный, с облупившейся коричневой краской дом, к которому они наконец подъехали, спрятался за толстыми липами. Из небольшого сквера за домом доносились звонкие мальчишеские голоса, и Сашка, словно охотничий пёс, сделал стойку, ища глазами сверстников. В отличие от неё, он обладал удивительным талантом – мгновенно сходиться с людьми. Причём, это могли быть как его ровесники, так и ребята постарше. Она так не умела, предпочитая прятаться вглубь себя, как улитка. И от этого её многие считали гордячкой.

– Я пойду гулять! Когда отец придёт, позовёшь, – вывел её из задумчивости брат, готовый уже дёрнуть в сквер к мальчишкам.

– Может, ты всё-таки глянешь хоть одним глазком, где мы будем жить? – схватила его за руку Люба, – да и вещи мне не дотащить одной.

– Ладно, – нехотя подчинился он, – давай сумку.

Квартира на втором этаже была единственной, значит – большая. Они позвонили. Дверь открылась сразу. На пороге стояла хозяйка. Они впились друг в друга глазами. Люба сразу отметила и странный платок, завязанный по-малороссийски кончиками вверх на макушке, и старенькую шаль, и главное – зачем-то смешно нарумяненные щёки. Интересно, это ради нашего приезда или она всегда так красится? – мелькнул в голове вопрос. Таких любопытных мещаночек, каковой казалась хозяйка, Люба всегда старалась избегать, а теперь сама угодила в ловушку. Однако она вежливо поздоровалась и поинтересовалась, здесь ли проживает врач Тихомиров?

– Ой, так вы деточки Матвея Ильича? Он предупреждал, предупреждал… Заходьте…

Губы нестарой ещё дамочки растянулись в сладкую улыбку.

– Да какие же вы худющие! Это в столице так модно, что ли, али хлебушка не хватает на всех? Ну ничего, на наших харчах быстро поправитесь… Вот ваши две комнатки. Да вы не волнуйтесь… как вас? Любочка? А я Надежда Григорьевна, – мягко "гыкала" она. – Ах, так о чём это я? Поместимся все…

С трудом соображая, о чём тарахтит хозяйка, Люба прошла в свою комнату и огляделась: комната была светлой и чистой – ну правильно, отец-чистюля в другой бы и не стал жить. Бросился в глаза портрет усатого мужика на стене и пошловатая лампа с плафоном в виде розового тюльпана.

Смежной была маленькая спальня, где будет спать Люба, а в большой – отец с Сашкой…

– А это муж мой, – хозяйка показала на портрет усача, – ничего, что здесь висит? Кс-кс-кс, – повернулась она к дивану, – познакомься, Маркизушка, у нас новые жильцы.

Серый толстый кот не двинулся с места, но лениво повёл желтоватыми глазами на Сашку, который бросил сумку и подошёл погладить пушистую тварь.

– Вы, Любочка, тоже докторшей будете? А котиков не лечите? А то Маркизушку чегой-то тошнит… Небось, на помойке обожрался, поросёнок эдакий…

От непривычной трескотни, а может, от длинной дороги у Любы разболелась голова. Она уже с нетерпением ждала подходящий момент, когда можно будет закрыть дверь в свою комнату. Наконец хозяйка наговорилась и вышла.

– Меня бы тоже затошнило от такой тётки, – заговорщически подмигнул Шурка, глядя на закрытую дверь.

В дверях послышался скрежет ключа.

– Папа! – хором воскликнули они и выбежали в коридор.

Дверь открылась, и в коридоре появилась знакомая худая, долговязая фигура. Сашка первый повис на шее отца. Люба чмокнула его в небритую щёку и заглянула в родные карие глаза:

– Как ты?

– Отлично. Молодцы, что приехали… Завтракали? Сейчас я Надежду Григорьевну попрошу напоить нас чаем, и поедем в больницу, Любушка, – засуетился обычно спокойный отец.

Они так давно не виделись, что и он, и Люба ощущали странную неловкость. К счастью, вскоре хозяйка позвала их за стол. Люба с удивлением и облегчением заметила, что перед отцом Надежда Григорьевна робела и говорила гораздо меньше.

– Ехайте, не волнуйтесь за сыночка, Матвей Ильич, я и накормлю, и присмотрю за ним.

– Чего за мной присматривать, я гулять пойду, – засовывая кусок горбушки в рот, вскочил Сашка.

Любе осталось только безмолвно помолиться, чтобы с ним ничего не случилось в новом городе.

По пути в больницу отец посерьёзнел и стал самим собой – спокойным и отрешённым от внешних событий. Казалось, он забыл про неё. Но вдруг он повернулся в коляске и спросил:

– На хирурга-то будешь учиться?

– Папа, я уже давно учусь. Но… пока только раны чистила от разрывных пулей.

– Ничего, научишься… Будешь мне ассистировать каждую операцию… Вот и госпиталь.

Отец, Тихомиров Матвей Ильич, – лучший хирург раньше Петербургской, а сейчас Киевской больницы, был всегда необычайно требователен к ней. И благодаря ему, закончив институт, она стала хорошим врачом.

Когда-то они жили вполне счастливой жизнью: отец, мать, младший брат Сашка и она. Но незадолго до войны умерла от рака мать, и даже отец не смог её спасти. Она помнила боль в его глазах. Всегда уверенный в своих действиях, решающийся на самые сложные операции, после смерти жены он превратился в старика, внезапно поседевшего и будто в один миг разочаровавшегося в себе и в профессии, которой посвятил свою жизнь.

– Папа, но ведь ты же не виноват, – прошептала Люба, когда застала его поздно вечером плачущим над портретом матери.

– Не знаю, – обронил он, пряча глаза.

Отец неожиданно уехал в Оптину пустынь и прожил там целых два месяца, так что двадцатилетняя Люба даже подумала, что они с Сашкой остались полными сиротами. К счастью, вскоре он вернулся. Внешне отец почти не изменился, но внутренне его будто переродили. Он ничего не рассказывал, а она не спрашивала, понимая, что это очень личное. Он снова стал пропадать на работе, успешно делал операции, учил студентов. А дома превращался в мягкого и любящего отца. Только Любе доставалось от его придирок, когда он проверял её знания. Перед каждым экзаменом он заставлял её рисовать внутренние органы со всеми сосудами, нервными окончаниями и клапанами.

– Папа, но я же не художник, у меня ровно не получается, – почти плакала Люба из-за его насмешек.

– А ты постарайся. Как же будешь швы накладывать на несчастных больных? Так же криво? – только и слышала она в ответ.

Эти рисунки ей снились по ночам, и на практике в больнице, глядя на больного, ей казалось, что она видит беднягу насквозь лучше рентгеновского аппарата.

Потом началась война. Петербург превратился в Петроград. Вскоре отцу предложили место в госпитале его родного города Киева, и он без промедления согласился.

– Кстати, Люба, ты знаешь, что госпиталь-то выстроила Великая княгиня Ольга Александровна?

– Да? – Люба оторвалась от созерцания города, – и какая она?

– Княгиня? Да обычная, как все… Только… более воспитанная, что ли. Раненые её боготворят, хотят, чтобы перевязки делала только она. Когда наплыв раненых, бедная Ольга Александровна иногда всю ночь не ложится.

– Так она медсестрой работает?

– Да, а мать её приезжает каждую неделю и делает ревизию.

– Получается, что начальник госпиталя не ты, а вдовствующая императрица.

– Получается так, но я не против, – засмеялся отец, вылезая из коляски и протягивая руку Любе, – честно говоря, так устаю от операций, что на административную работу уже нет сил. Раненых очень много, – вздохнул он.

Возле крыльца курили больные в серых халатах и тапочках. Они нестройным хором поздоровались с отцом и любопытными взглядами проводили Любу. В госпитале было тихо и пахло карболкой.

– Пойдём в кабинет Ольги Александровны, я тебя сразу представлю и за работу, – засуетился отец.

Они поднялись по старой лестнице на второй этаж и постучали в прикрытую дверь.

– Войдите, – раздался доброжелательный голос.

Немного волнуясь, вслед за отцом вошла Люба. Великая княгиня встала ей навстречу. Люба машинально, как учили в гимназии, сделала книксен.

– Ольга Александровна, – протянула руку невысокая женщина, лет тридцати, с загорелым и некрасивым лицом.

Люба во все глаза смотрела на сестру императора и всё не могла поверить, что бывают такие простые Великие княгини. Она словно поняла замешательство Любы и улыбнулась. От улыбки лицо преобразилось, и в карих глазах засветился живой ум и доброта.

– Как там в Петрограде? Вы же только что оттуда?

– Да, ваше высочество. В Петрограде сыро, шумно и неуютно. Это совсем не Петербург.

– Я понимаю и разделяю ваше мнение, Любовь Матвеевна.

Княгиня повернулась к отцу, уже занявшемуся разбором каких-то бумаг.

– Матвей Ильич, у меня новость для вас… Сегодня мне телефонировал Николай Александрович и сказал, что осенью, в сентябре или октябре, приедет в Киев.

Отец поднял голову и посмотрел на неё невидящим взглядом. Вскоре до него дошёл смысл её слов.

– Вы хотите сказать, что царь зайдёт в наш госпиталь?

– Именно это я и хочу сказать, надо подготовиться…

– Тогда нужно срочно пригласить хорошую заведующую отделения, – почти сердито ответил отец, – нынешняя неряха никуда не годится.

– Делайте, как считаете лучшим, а Любовь Матвеевна кем будет у нас работать?

– Пока врачом общей практики, а потом посмотрим.

Ольга Александровна проводила Любу в ординаторскую и представила персоналу. Несколько медсестёр встретили её доброжелательно, а врачи-мужчины даже с интересом в глазах. К Ольге Александровне Люба заметила особое отношение – очень уважительное, но без подобострастия. Лишь пара санитарок неприветливо скосились на княгиню и зашептались. Но Ольга Александровна, казалось, ничего не замечала – поздоровавшись со всеми, она сразу пошла к раненым.

Отец был прав – порядка в госпитале не хватало. В палатах было неубрано. Санитарки, кроме Великой княгини, неохотно брались за чёрную работу – выносить судна или стирать бинты. А заведующая, пожилая женщина, с тяжёлым дыханием по причине астмы, не имела физических сил их пристрожить.

Новую заведующую отец нашёл через знакомых, переманив из соседней больницы. Через несколько дней кабинет заведующей заняла черноглазая и строгая женщина, чуть старше Любы, по фамилии Маривчук. Дамочка оказалась местной и прекрасно знала, как вести себя со своими землячками. На раскачку ей время не требовалось: санитаркам тут же был устроен разнос за грязь, медсёстры живее забегали вокруг раненых, и перевязки стали проводиться

в два раза быстрей. Досталось и врачам: никаких перекуров с ранеными, короткий перерыв только в обед.

А вскоре из Петрограда приехали ещё две девушки-санитарки.

"Может, я их знаю! – мелькнуло у Любы в голове, – вдруг они из того же Мариинского госпиталя, где папа работал!"

Люба побежала в ординаторскую. В коридоре ей попалась Ольга Александровна.

– Вы видели новеньких? – запыхавшись спросила Люба, радостно улыбаясь.

Однако всегда приветливая княгиня почему-то не разделила её радость: она отвела взгляд, напряжённо кивнула и, тихо извинившись, куда-то пошла быстрым шагом. Удивившись, Люба открыла дверь.

Возле Дины Борисовны стояли две высокие девушки и что-то оживлённо рассказывали. Заведующая заметила её и оборвала разговор.

– Вы что-то хотели, Любовь Матвеевна? – официально обратилась она, приподняв тонкие чёрные брови.

– Д-да, – неуверенно начала Люба, подходя поближе, – я хотела познакомиться с новыми сёстрами. Вы из Петербурга?

– К вашему сведению, такого города не существует, – насмешливо ответила одна из девушек.

Лицо на вид у неё было бы приятное, если бы не красный шрам на лбу непонятного происхождения.

– Да, да, я знаю, просто по привычке так называю, – ответила Люба, не в силах оторвать взгляд от шрама, грубо зашитого, вероятно, неопытной рукой хирурга.

– Да вы, я смотрю, не только от Петербурга не можете оторваться, ещё и с высочеством носитесь, как с писаной торбой, – мрачно усмехнулась вторая чёрненькая девица, чем-то похожая на Дину Борисовну.

– А это, по-моему, вас не касается, – разозлилась Люба.

Она поняла, что до её появления эти две новенькие как-то оскорбили Ольгу Александровну. Вот почему она выглядела такой растерянной.

Дружбы с петроградскими девушками не получилось, но Дина Борисовна была ими довольна. С фронта поступила большая партия раненых, от которых пахло так жутко, что неопытные сёстры боялись делать перевязки. Однако новые медсёстры бесстрашно взялись за дело. Люба за два года успела привыкнуть к самой грязной работе, но даже она с содроганием развязывала заскорузлые от грязи и крови бинты, молясь про себя за несчастных мужиков, плачущих от боли.

Газеты писали о большом наступлении армии Брусилова. Люба не знала подробностей этой операции, лишь замечала увеличившееся число раненых, которым уже не хватало ни обезболевающих средств, ни места в палатах. Давно ощущалась нехватка и лекарств, и бинтов, и всего самого необходимого для перевязок. Повсюду, и в палатах, и в коридорах, и даже на лестничных площадках слышались жалобы и ропот на царя. В воздухе витала жуткая обречённость…

Потерять ногу или руку – было самым тяжёлым для раненых. Некоторые после операции отказывались есть и пить. Подходя к одному из таких бедолаг, Люба мучительно искала нужные слова.

– А я сегодня журавлей видела, – издалека начала она разговор, обращаясь ко всем сразу в палате, – говорят, примета такая: если журавли летят низко, то зима тёплая будет, если высоко – холодная.

– И как же они летели, сестрёнка? – подмигнул весёлый поручик, тоже оставшийся хромым после операции.

– Низко, значит тёплая.

– Шалишь, мать, не всегда так бывает, – вмешался в разговор другой сосед – солдатик с перевязанной головой, – ещё говорят: если летят низко и молчком, то жди скорого ненастья.

– Нет, я слышала, как они курлыкали, – заулыбалась Люба, – а какие приметы в ваших краях?

– У нас много желудей – к лютой зиме…

– Гром в сентябре – тёплая осень…

– Гуси летят – зиму на хвосте тащат…

– А ты, солдатик, что думаешь, какая зима будет? Чего молчишь? – подсела на кровать к молчуну Люба.

Тот вдруг резко повернулся и хрипло ответил:

– А мне всё равно. Я до зимы не доживу.

Глаза у него были сухие и воспалённые. Губы потрескались, и щёки ввалились от голода.

– Как тебя звать, служивый?

– Мишкой кличут. Тебе-то что, мать?

– Да моего жениха тоже Михаилом зовут, – вдруг поделилась Люба, – давно от него письма не получала, может, тоже раненый где-то лежит.

– Ну если ранен, как я, то лучше откажись сразу, – горько усмехнулся он.

– Скажи, братец, а детки-то у тебя есть?

– Есть, пятеро… И что? Думаешь, им такой батя нужен на шею?

– А вот если бы кого из твоих сыночков так ранило, ты бы что с ним сделал? Может, в лес бы отнёс и оставил там за ненадобностью?

Мужик зло приподнялся на локтях и ожёг её взглядом.

– Что болтаешь, докторша?

– Любишь деток, значит… А почему же ты думаешь, что они тебя не любят? Знаешь, как бабы стоят у вагонов с ранеными, плачут и высматривают, не покажется ли родное лицо? Детушки малые дёргают мать за юбку и спрашивают: где наш папка родненький? А мать уже слёз сдержать не может: нету папки, бросил нас родимый… Остались мы сиротами… Что ж вы, мужики, такие глупые и не понимаете, как плохо без вас жёнам?

Тишина в палате воцарилась гробовая. По лицу безногого текли крупные слёзы. Люба налила в кружку воды и протянула ему.

– Попей, родимый, да начинай хорошо кушать. И без ноги проживёшь, только не унывай.

– Коня купишь, будешь быстрее всех на базар скакать, – пошутил казак.

– Может, ты мне и купишь? – грубо, но уже не так уныло поинтересовался безногий. Он присел и без стеснения вытер кулаком слёзы на щеках.

– Да мне самому бы кто купил, – усмехнулся казак.

Несколько дней подряд Люба заходила в свободное время к несчастному безногому и по разным поводам вызывала его на разговор, расспрашивая о семье: где живёт, учатся ли детки, здорова ли жена? В его глазах пробуждался интерес к жизни. Теперь он со смехом жаловался на отрезанную ногу: тянет, мол, по ночам, как будто её снова пришили. Мужички советовали вставать на костыли и укреплять руки. И, преодолевая себя, через несколько дней он уже скакал по палате. Глядя на него, повеселели и другие.

Летние месяцы промелькнули, как братья-близнецы, страшно утомляя бесконечной жарой. Люба с тоской вспоминала о тучах над Невой, приносивших спасительную прохладу в самое жаркое время. Здесь же всё выжигало беспощадное яркое солнце.

Раненые всё прибывали и прибывали. Врачей не хватало, и из-за этого приходилось дежурить через день. От недосыпа у Любы стала кружиться голова. В палатах её встречали с улыбками, как друга, однако теперь мужички всё время задерживали, желая поговорить.

– Любовь Матвеевна, а откуда вы знаете про баб-то наших? – спросил в конце обхода солдатик с перевязанной головой, – вы из деревенских, что ли? Или так складно придумываете про бабью тоску?

– Да разве женщины не все одинаковые? – присела она к нему на кровать, замечая, как жадно стали прислушиваться к разговору другие. – Хотя я сама из Петрограда, деревню знаю хорошо. Помню, только война началась, я в Ростовскую область к бабушке и матери на могилу поехала. Осень была сухой, тёплой, не то что у нас в Питере, везде тихо, спокойно, ничего не выдавало войны… Но когда возвращалась в Петроград, то поезда с расписания уже сбиваться начали. Моего поезда долго пришлось дожидаться. Смотрю – на перроне бабы стоят молодые, подсолнушки поплёвывают. Чего ждут, думаю? Вроде непохоже, чтобы в дорогу собрались. А начальник станции мне и объяснил, что молодухи часто поезда встречают – либо мужа обратно ждут, либо почты с письмами. Спрашиваю, а получал ли кто письма? Редко… Чаще похоронную. Тут вой, говорит, поднимается – чисто волчий… Аж собаки в деревне брехать начинают.

Вижу – женщины хорохорятся, словечками перекидываются, вида не подают, что волнуются, а у самих глаза тревожные, словно спрашивают без слов: как ты думаешь, с моим-то касатиком всё в порядке? И в дождь стоят бабы, и в жару. А то и ночью придут, не спится им, сердешным…

– От подлый немчура, неймётся ему, войну закрутил, а наши бабоньки страдают, – вздохнул кто-то.

– Так как же можно вам домой-то не торопиться, братцы? Поправляйтесь уж скорее, – закончила Люба.

– Да мы бы и рады, – вздохнул безногий.

– А точно ли всех ждут? – горько усмехнулся кто-то из дальнего угла палаты, – некоторые уже успели и ребёнка нагулять.

– Это уж не докторше, а своей бабе вопросы будешь задавать, – вмешался казак.

– А я и царю задам: почто нужна была эта война? Будь она неладна…

Люба и сама не знала ответы на извечные вопросы. Да и кто их знал? Наверное, только Бог.

Глава 3

Отец не желал записываться в мясники и последнего раненого, молодого есаула, оперировал несколько часов, зашивая разорванную артерию на переломанной руке. Когда казака только внесли в операционную, Люба поразилась, что он ещё жив – кровью был пропитан не только рукав, но и вся одежда. Фуражки на голове не было, а от природы русые кудри, усы и борода порыжели от запёкшейся крови.

После долгой операции Люба взяла казака за руку и с облегчением ощутила появившийся пульс, но рука была очень сухой и горячей.

– Люба, поставь санитарку к нему дежурить, – скупо приказал отец, – если жар и к завтрашней ночи не спадёт, пусть звонит мне.

Вечером они, обессиленные, молча возвращались домой. Ужинать не хотелось, и Люба уже было решила уговорить Шурку лечь спать пораньше, как в дверь постучали.

– Это к нам, – вдруг засуетился отец, – Любочка, поставь-ка чайник да спроси Надежду Григорьевну, не завалялись ли у неё пирожки с обеда?

Оторопевшая Люба нехотя пошла к соседке, попутно прислушиваясь к голосам в коридоре. Да это же снова тот… Олейников… Что ему нужно от отца?

– Проходите, Сергей Фёдорович. Спасибо, что нашли, наконец, время для нас. Надеюсь, здесь у нас с вами получится более спокойный разговор. А то… в больнице – ни минуты покоя. Люба, познакомься…

– Мы знакомы с господином Олейниковым, – церемонно и холодно кивнула Люба.

Однако поздний гость будто не заметил её холодности.

– Вот уж не ожидал, что встречусь здесь с вами, – в провинциальных традициях, по-свойски тряся её руку, радовался журналист, – какая удача!

– Что у вас за дело с отцом?

– Люба, Люба, постой допрашивать человека, давай сначала чаем его напоим.

С довольным видом вплыла соседка. К пирожкам с капустой прилагалась и её персона.

– Так вы сможете написать о нашем бедственном состоянии, Сергей Фёдорович? Нам очень нужны медикаменты, продукты, да, в общем-то, любая помощь, – после нескольких глотков чая, спросил отец с лёгким стеснением.

Просить ему было непривычно, но раз просит, значит, действительно, положение бедственное.

– Смогу, но… знаете, будет лучше, если мы напишем про госпиталь в связи с какой-нибудь датой или событием…

Отец шмякнул стакан об стол так сильно, что сомлевшая от горячего чая Надежда Григорьевна вздрогнула и округлила сонные глаза.

– К нам же император приезжает… Вы что, не знали? Через две недели.

– Вот это новость, – журналист побарабанил пальцами по столу, – нет, не знал. У нас, видите ли, либеральная газета. Мы не очень… хм… положительно относимся к войне, да и к царю тоже, поэтому и не отслеживаем его перемещения. Но… вы правы, как повод это можно использовать. Я даже знаю, под каким соусом подать это блюдо, – с этими словами Олейников вдруг подмигнул Любе.

– И под каким же? – сдержанно поинтересовалась она.

– Напишем, что царь слаб и не может справиться ни с армией, ни с поставкой продовольствия. Если не граждане, то кто же поможет раненым?

– Кстати, а откуда эти слухи, что Николай – слабый человек? – откинулся на спинку стула отец.

– Представьте, это не только моё мнение. Например, я общался лично с одним из его полковников. Как же его фамилия… постойте, а… Врангель. Да, барон Врангель. Мы с ним вместе из Петрограда ехали. Я как раз из армии вернулся, материал в столичную газету сдал и домой собрался. Барон со мной в одном купе ехал. Эх, с какими только людьми не познакомишься в поездах России, – щёлкнул пальцами Олейников и опять зыркнул на Любу. – Так вот… умнейший человек и интереснейший собеседник, скажу я вам…

– И что же он вам поведал про царя? – не вытерпела Люба.

– Он рассказывал не столько про царя, сколько про армию. Оказывается, за прошедшие почти два года войны большая часть кадровых офицеров, особенно в пехоте, погибла или ранена. А новые офицеры и сами не доучились и потому солдатам пример нормальный показать не могут. Поэтому армия быстро падает духом.

– Неужели всё так плохо? Наша армия такая слабая? – недоверчиво покачал головой отец.

– Нет, барон говорил, что, конечно, русская армия ещё очень грозная сила. Он, видите ли, командовал Верхнеудинским казачьим полком. Вот уж, говорит, кто не подведёт никогда – так это казаки. Я у него спросил, не идеализирует ли он казаков?

– А Врангель что? – спросила Люба.

– Говорит, не идеализирует. Казаки, твердит, – это наша опора. Ошибки военачальников они исправляют своей кровью… А слабый царь наделал много ошибок, хотя, говорят, он умён.

За столом воцарилось тягостное молчание. Люба вдруг вспомнила сегодняшнего красивого есаула, которого отец вытащил с того света долгой операцией… Как он там?

– Так а что он про царя рассказывал? – вдруг вмешалась в разговор Надежда Григорьевна, про которую все забыли.

От пристального взгляда Олейникова пухлые щёки соседки ещё больше зарумянились.

– Про царя барон рассказывал разное. Говорит, ему пришлось с ним общаться на встрече Георгиевских кавалеров в Петрограде. И был он поражён его умом и памятью. Он схватывает мысль собеседника с полуслова. А если раньше хоть раз слышал о ком-нибудь, то потом безошибочно повторяет, в какое это было время и при каких обстоятельствах. Например, про Врангеля Государь вспомнил совершенно точно, где находилась его дивизия во время боёв в Карпатах полтора месяца назад до этого. В памяти и цепкости ума ему не откажешь, но вот в воле полководца… Боюсь, он не сможет справиться не только с немцами, но даже с собственными генералами, – Олейников покачал головой, – я считаю, так же как и барон Врангель, что Николай гораздо худший полководец, чем немецкий Вильгельм… Да и человек он странный… Понимаете теперь, почему наша газета за мир с немцами? С таким царём мы не победим.

Люба нисколько не симпатизировала Романовым, кроме разве что Ольге Александровне, но сравнивать русского царя с немецким показалось ей оскорбительным.

– Так что же вы предлагаете, Сергей Фёдорович, сдаться немцам, если вы против войны? – с нарастающим раздражением спросила Люба, – к вашему сведению, не Россия объявила войну Германии, а наоборот.

– Не сдаться, Любовь Матвеевна, а найти почву для переговоров, поискать компромисс…

– Почему вы так унижаете русских, Сергей Фёдорович? Чем наш народ вам не угодил? Мне кажется, что в таких как вы, интеллектуалах, поселился бес гордыни. Вы всех судите и за всех решаете.

– У меня сестра монахиня, – отец обратился к гостю с извиняющейся улыбкой, – вот оттуда и суждения про гордыню.

– Папа, но ведь это правда, – с горечью продолжила Люба, – все их рассуждения строятся только на одном – на признании себя самыми умными.

– Любовь Матвеевна, – Олейников тонко и грустно улыбнулся, – ценю ваш патриотизм, но я говорю от имени многих простых людей, а вовсе не интеллигенции. Ведь война совершенно расстроила нашу мирную жизнь. Вы посмотрите, сколько беженцев в Киеве, а всё

потому что во многих городах нет продовольствия… А эти хвосты за хлебом и керосином. Разве голод и холод – это не повод закончить войну?

Люба упрямо покачала головой.

– Нужно победить на фронте, а здесь… мы потерпим.

– Не все, не все так считают, как вы, барышня, – криво усмехнулся журналист и обратился к отцу, – так что мы решим, Матвей Ильич? Может, вы Любовь Матвеевне дадите, так сказать, поручение написать о госпитале несколько заметок? А мы опубликуем, – донеслось до сознания задумавшейся Любы.

– Что? – она посмотрела удивлённо, – мне писать в вашу газету? Но… о чём?

– Можете не писать, Любовь Матвеевна, а просто так… набросать очерк. А я уж оформлю, как полагается. Сделаем постоянную рубрику про ваш госпиталь, чтобы источник благотворительности не иссяк.

– Вы уверены, что это привлечёт к нам благотворителей? – спросил отец.

– О, не сомневайтесь, – Олейников снова оживился, – у людей деньги есть, и продукты есть. Нужно только вызвать у них интерес.

Отец смотрел на неё и требовательно, и просяще одновременно. Отказаться было невозможно.

– Хорошо, я подумаю… А давайте напишем про Ольгу Александровну. Ведь она первая вложила свои средства в наш госпиталь.

Олейников поморщился и уткнулся в чашку с остатками чая.

– Хм… Боюсь, для наших читателей это не будет новостью. Давайте лучше напишем о том, какие интересные люди у вас работают. Матвей Ильич, вы говорили, что ваша новая заведующая… эта Маривчук из-под Киева? Вот давайте про неё расскажем. Нашим читателям будет приятно помогать своей землячке.

– Давайте про неё, – согласно кивнул отец и зевнул, прикрыв рукой рот, – извините, не спал предыдущую ночь.

– Удаляюсь, удаляюсь, – вскочил Олейников, – благодарю гостеприимную хозяйку за чай, а вас, Любовь Матвеевна, жду через пару дней у нас в редакции.

– Это которая на Фундуклеевской? – встрепенулась сонная Надежда Григорьевна.

– Точно так-с, на Фундуклеевской. До скорого свидания, дамы и господа.

Манерно поклонившись, Олейников наконец удалился, а Люба набросилась на отца. Тот, усевшись на кровать, уже расстёгивал рубашку, всем своим видом показывая, что у него нет сил для длинного разговора. Однако в Любе пробудилось то самое упрямство, которое её так раздражало в брате.

– Папа, мне не нравится этот скользкий журналист, мне не нравится его идиотская газета, мне не по душе твоё поручение! Он делает вид, что заботится о других, а самого волнует собственное пузо!

– Тише, тише, Любочка, – устало попросил отец, – не нужно так горячиться. В жизни часто приходится делать не то, что нравится. Постарайся для общей пользы.

– Но…

– Пожалуйста, давай поговорим завтра, – спав с лица, попросил отец.

Люба осеклась, будто споткнулась, и молча пошла к себе.

Глава 4

И всё-таки Любу тянуло рассказать всему Киеву об Ольге Александровне, сестре царя. От неё исходила великая сила духа, которой нельзя было не восхищаться. Люба не понимала, как родная сестра царя может делить комнатку с простой медсестрой? Как может всю ночь перевязывать раненых, а потом ещё дежурить весь день, не жалуясь и не подменяясь? Как ей хватает сил смиренно молчать, когда солдаты, озлобленные от боли и голода, ругают обидными словами всю царскую семью?

Ольга Александровна чувствовала внутреннее расположение Любы и, негласно приняв её в подруги, однажды поделилась самым сокровенным, что ждёт с фронта любимого человека – штабс-капитана Николая Александровича Куликовского.

– Когда-нибудь брат даст мне разрешение на развод и мы поженимся, – устало и немного грустно улыбнулась княгиня, когда они вечером присели в её кабинете попить чайку, – если бы вы знали, Люба, как я боюсь за моего Куликовского… Но ведь не может же Бог после тринадцати лет ожидания просто взять и забрать его у меня.

– После тринадцати лет? – обомлела Люба, – как?.. Как вы могли не… переступить черту, если так сильно любили друг друга?

– Да, любили, вы правы… Я вам скажу больше: если бы не Куликовский, то я бы, наверное, не выдержала столько времени ужаса своего положения. Николай Александрович всегда был моим другом и моей опорой. Вы знаете, иногда мне казалось, что мы переступили земную любовь – так сильны были наши чувства… Но, кроме любви к нему, я не могла отказаться ни от брата Николая, ни от Алики, ни от их девочек и Алёши. Если бы даже никто не узнал о нашей связи, то я была бы уже другой и не смогла бы смотреть в их чистые и честные глаза. Я бы просто чувствовала себя недостойной их дружбы, вы понимаете?

Люба потрясённо кивнула. Порой она ловила себя на том, что Великая княгиня своим загорелым и не очень красивым лицом ей напоминает обычную деревенскую бабу. Лишь манеры Ольги Александровны, деликатные и скромные, да ещё негромкий голос выдавали в ней высокое происхождение. Но в эту минуту Люба впервые убедилась, что перед ней не простая смертная – столько благородства, смешанного с горечью, но от этого ещё более ощутимого, было в её одухотворённом взгляде.

– Их дружба мне нужна была как воздух, потому что… – княгиня чуть замялась, – к сожалению, с Maman мы редко общались по-дружески. Но и кроме этого… – она подняла голову и пристально посмотрела на застывшую Любу, – вы же верующая, Любовь Матвеевна? Тогда поймёте… Кто нас поддержит в трудную минуту, кроме Бога? А как я могла бы к Нему обращаться, если бы жила нечестно? Нет, все эти препятствия были слишком велики для меня.

– Но разве любовь не стоит того, чтобы преодолевать эти препятствия?

Ольга Александровна покачала головой, глядя в окно, где, похоже, собиралась редкая в этом городе гроза.

– Любовь – очень широкое слово… Мы любим и Родину, и наших близких, и… Бога… Нельзя ошибиться, что вперёд. Кстати, а давайте поищем вашего жениха… Может, пошлём запросы в разные госпитали? Как его зовут?

– Михаил Васильевич Столетов, поручик уланского полка.

– Тоже Михаил, как мой брат? – грустно улыбнулась княгиня, – постойте, я запишу.

Удивительная женщина сразу оживилась, как только почувствовала, что необходима её помощь, в глазах появился блеск, и Люба вновь залюбовалась ею.

Вот о ней бы написать, о чистой и верной любви… Но кого это восхитит в наше время? – покачала она головой, – скорее, Великую княгиню обзовут дурочкой или вообще не поверят…

Олейников просил что-нибудь узнать про Маривчук, но общаться с Диной Борисовной не хотелось – Любу отталкивал её высокомерный вид. А её любимые санитарки вообще вызывали подозрение. Их шёпот по углам напоминал заговор, и казалось, что рано или поздно их злость выльется в какое-нибудь злодеяние. Увы… Люба не ошиблась.

На следующее утро, после обхода, Люба с Ольгой Александровной вместе делали перевязки. Санитарки приводили раненых. Их было так много, что Люба едва успевала отмывать руки от крови. Несколько раз приходилось менять воду и фартук. Последний бедолага, раненый в голову, терпеливо ждал, когда же ему снимут с глаз повязку и позволят взглянуть на белый свет.

Люба побежала за ширму снова ополоснуть руки, а Ольга Александровна принялась неторопливо разматывать бинт. Санитарка, та самая – из "революционерок", с неприязненным и хитрым выражением лица, – почему-то не уходила, застыв возле больших банок с вазелином, стоящих на полу. Выйдя из-за ширмы, Люба вдруг с ужасом увидела, как та подняла с пола огромную банку и… занесла над головой княгини. Глаза её горели безумным светом…

– Стойте! – крикнула Люба не своим голосом.

Ольга Александровна резко обернулась и отпрянула… У санитарки некрасиво исказился рот, хмыкнув, она с грохотом уронила банку на пол и выбежала из перевязочной. Бедный раненый подпрыгнул на кушетке, ничего не видя и не понимая.

– Что? Взрыв? Где?

– Тише, тише, – Ольга Александровна дрожащими руками взяла его за плечи, – всё в порядке, просто разбилась большая банка… Сидите спокойно.

Однако душевные силы у неё закончились. Княгиня медленно опустилась на кушетку рядом с раненым и стала искать несуществующую пуговицу на халате, желая освободить грудь, чтобы вздохнуть поглубже.

– Ольга Александровна, – подскочила Люба, – идите домой, я сама всё доделаю и уберу здесь.

Княгиня молча кивнула и тяжело поднялась.

– Спасибо, Любочка, вы спасли мне жизнь, – прошептала она со слезами на глазах.

Отправив в палату последнего раненого, Люба быстро прибрала перевязочную и кинулась искать Маривчук, сразу рассудив, что с сумасшедшей санитаркой разговаривать бесполезно.

После короткого стука она ворвалась в кабинет заведующей. Красавица Дина Борисовна уже стояла в чёрном пальто перед зеркалом и натягивала перчатки.

– Что вам, Тихомирова? – нахмурившись, спросила она.

Люба плотно закрыла дверь и подошла к заведующей совсем близко.

– Сегодня ваша санитарка чуть не убила Ольгу Александровну, – чётко произнесла Люба.

– Вот как? – красивые чёрные брови Маривчук картинно взлетели вверх, – чем же она хотела её убить? Пистолетом?

– Большой стеклянной банкой с вазилином.

– Хм-м… – перчатка не хотела налезать на крупный перстень на среднем пальце, – ну не убила же…

– Я требую её уволить, – чувствуя, как в глазах от гнева у неё темнеет, повысила голос Люба.

– Требуете? А вы кто, собственно, такая, чтобы что-то требовать от меня?

– Я… обычный врач, а вот ваша подлая девка – террористка. Может, и вы такая же?

Бац! Щёку обожгла звонкая пощёчина. Любе показалось, что её укусила змея – глаза Маривчук полыхали тёмным огнём.

– Это вам за "подлую девку"… Хотите ещё?

Люба ошеломлённо схватилась за щёку, растерявшись. Но это длилось лишь мгновение.

– Что ж… я не отступлю, Дина Борисовна. Если вы не уволите свою… девку, то я доложу в охранное отделение, что в нашем госпитале зреет заговор к приезду царя. Сегодня было покушение на его сестру, а там… глядишь, и на царя замахнётесь?

Маривчук сдёрнула перчатку со второй руки и бросила обе в мусорную корзину.

– Вы ещё пожалеете о своих словах.

Дина Борисовна толкнула плечом Любу и выбежала из кабинета.

Всё ещё ощущая удар сухой, крепкой женской руки на своей щеке, Люба пошла в ординаторскую.

Когда врачи и медсёстры разошлись по домам, она, как дежурный врач, осталась одна. Усевшись в ветхое кресло возле окна, Люба нервно закурила. Выкурив одну папиросу, она сразу принялась за вторую. Серый холмик на спичечной коробке быстро рос, грозя упасть и рассыпаться по полу, но было лень вставать за пепельницей. Нужно было успокоиться и обдумать свою дальнейшую жизнь.

Маривчук не простит шантажа – это точно. Более того, Дина Борисовна будет добиваться её увольнения. В ненависти, льющейся из её тёмных, почти чёрных глаз, Люба прочитала себе приговор. Такие не прощают и не забывают ничего.

Люба всё-таки свалила серый холмик с коробки на пол и, потушив папироску, принялась за уборку всей ординаторской. Так что же сделает ей Маривчук? Будет придираться к диагнозам? За это Люба не волновалась. Устроит ей бойкот от всего персонала, но для этого она должна будет рассказать про весь инцидент. Нет, она сама не захочет огласки… В общем, месть, как говорят японцы, это холодное блюдо, значит, она отомстит, когда Люба не будет ожидать.

Однако долго размышлять было некогда. Нужно было делать обход.

Длинный, полутёмный коридор больницы был пуст. Лишь в конце его горела лампа, освещая сестринский стол, за котором никто не сидел.

Может, у есаула опять жар? – с тревогой подумала Люба. И не ошиблась – в палате, возле самого окна, где и лежал казак, белым халатом светился силуэт дежурной сестры. Когда дверь в палату впустила тусклый свет из коридора, она повернула лицо.

– Любовь Матвеевна, слава Богу… Смотрите, он весь горит… Я уже два раза воду сменила похолоднее…

Казак метался по подушке и что-то говорил в бреду. Его бледное лицо было словно восковым. Сердце сжалось от его беспомощности перед смертью.

Молоденькая сестричка чуть приподняла есаулу голову, и Люба из мензурки влила лекарство в его полуоткрытый рот. Казак крупно глотнул, поморщился и снова застонал от неизвестных им бредовых видений.

– Всё воюет… Дай-ка ему ещё водички, – прошептала Люба, – настойка горькая, жуть…

Переменив раненому компресс на голове, Люба услала санитарку отдыхать, а сама присела на табуретку у его ног и огляделась – многие в палате спали беспокойно.

Ей вдруг подумалось, что Миша тоже может прийти с войны без ног. Что тогда делать? Сможет ли она стать его женой?

Он уходил на фронт почти счастливым. В новенькой форме, в синих рейтузах, в рубашке цвета хаки, в белом ременном поясе, на котором висела шашка, он показался ей ещё выше, чем всегда. Но внутренне (и это было самым удивительным) он чем-то напомнил младшего брата Шурку. Странно, что мужчины, даже взрослые, часто кажутся детьми, а девочки, порой совсем крохи, напоминают маленьких женщин. Не верилось, что тот Михаил Столетов, бравый, смелый поручик, может превратиться в слабого и немощного человека, которому самому потребуется помощь…

– Сестричка, – вдруг раздался хриплый голос есаула, – сестричка, дай воды… Что-то горько во рту.

Люба вскочила.

– Сейчас, сейчас, милок, – вырвалось у неё бабушкино словечко, – попей, попей, болезный…

– Где Ворон? Где мой конь, где? А-а-а…

Казак порывался встать, бежать искать своего Ворона… Но Люба успокаивала его, как могла. Под утро лекарство помогло. Она осторожно, чтобы не разбудить, пригладила разметавшиеся русые кудри казака и потрогала его вспотевший лоб – вроде уже не такой горячий. Похоже, жар спадал и пульс стал чуть тише.

Посидев ещё немного, Люба отправилась в ординаторскую.

Однако лихорадка не оставляла казака, и Люба, отдохнув пару часиков днём, пришла к нему и на следующую ночь. То ли в полусне, то ли в бреду казак вдруг произнёс ясным голосом:

– Прощай, Ворон, конь мой любимый… Прости, что не уберёг тебя…

По его щекам, освещаемым тусклым светом уличного фонаря, протянулась и заблестела мокрая дорожка слёз. Люба осторожно позвала раненого.

– Егор Семёнович, у вас болит рука?

Он открыл глаза и мгновение лежал, не отвечая, лишь глядя в потолок. Потом перевёл на неё синие-синие красивые глаза, но полные душевной тоски.

– Сердце болит. И боль эту терпеть невозможно. Всё можно вытерпеть, но когда теряешь друзей… Тараса Щеголькова, Астахова, Петьку Рябого… А ещё и Ворона, коня моего убило осколком… Росли с ним вместе, воевали вместе. Глаза у него человеческие были. Так глянул на меня перед смертью, что забыть не могу…

– Да, – помолчав, сказала Люба, – нам было бы легче, если бы мы верили, что лошади и собаки имеют бессмертную душу… А знаете, индейцы так и верят, – оживилась она, вспомнив легенду, что читала в детстве Шурке, – один индеец… Длинное Перо, – на ходу сочинила она индейское имя, – вот так же потерял своего любимого коня по кличке… Верный и пришёл, убитый горем, к шаману. Верни, говорит, мне его. Знаю, что скачет он в небесном табуне, но не могу, скучаю по нему. А я, говорит, тебе отдам всё своё золото.

– И что же шаман? – тихо спросил казак.

– Тот думал три дня. Потом подзывает к себе Длинное Перо и говорит: я бы мог упросить богов отпустить тебе коня из небесного стада, но боюсь, что вместо Верного боги пришлют тебе Костлявую лошадь.

– Что за лошадь? – привстал есаул и тут же опрокинулся в изнеможении на подушку.

– Эта лошадь, – продолжала Люба, – везёт своего всадника к смерти. Длинное Перо, – спросил шаман, – есть ли ещё на этой земле те, ради кого ты ещё хочешь жить? Индеец подумал. Есть, говорит. Тогда не проси богов вернуть тебе Верного. Вы с ним встретитесь, когда придёт время. А сейчас по земным дорогам скачи на земных конях.

– И что же решил Длинное Перо?

– Я не знаю, Егор Семёнович, легенда на этом обрывается. Наверное, каждый должен закончить её сам.

Казак лежал, закрыв глаза, и вскоре по его ровному дыханию Люба поняла, что он заснул.

После той ночи между ними будто протянулась невидимая ниточка. Через пару дней Люба осматривала раненого, поступившего накануне, и едва понимала его ответы, всё время отвлекаясь на казака.

– Егор Семёнович, вы вот мне объясните, – допрашивал его капитан на соседней койке, – что у вас, у казаков, за звания такие: хорунжий, есаул, сотник? Что, нельзя было нормальные звания ввести?

– Да какие же офицерские прозвища вы считаете нормальными? – с усмешкой спросил есаул, уже сидя в кровати, – наши-то звания подревнее ваших будут. Вот например – хорунжий, ясно и понятно, что от слова “хоругвь”. И сотник – куда уж проще… Это уж потом… Пётр

вроде… стал вводить немецкие и французские прозвища. Так что… думайте лучше о своих женщинах, а не о казачьих званиях.

– Ну, а сам-то чего не женился, Егор Семёнович? Жалмерка-то не ждёт тебя? – не унимался капитан.

– Не, меня не ждёт, – усмехнулся есаул, – погодь, доведётся и мне свою борозду провести. Только не желаю рогатым ходить на войне… и так ростом высок вышел.

– На что вы намекаете, ваше благородие? – обиженно произнёс солдатик, лежавший у двери, – думаете, мы все здесь, женатые, с энтими… с рогами ходим?

– Не намекаю я, солдатик, – казак откинулся на спину и продолжил, глядя в потолок, – не верю я бабонькам. Уж больно долго им ждать приходится мужей своих… А ласки хочется, мужского плеча, да и хозяйство одной ой как нелегко тянуть… Не так, что ли? Как говорится – на бедную Настю все напасти. Вот одну такую жалмерку в нашей станице оболгали иль нет, только повесилась она. Если и была её вина, теперь прощена. Муж её, небось, раскаивается, а я такого счастья не хочу.

Казак замолчал, замолчали и остальные раненые. Тишину нарушил стук женских каблучков. В палату вошла Дина Борисовна.

После того инцидента они с Любой не разговаривали, будто заключили негласное перемирие. Сумасшедшую санитарку отправили в монастырь. Однако Люба иногда ловила на себе пристальный взгляд Маривчук, полный затаённой злобы. Дина Борисовна, похоже, ей не простила того, что поступила против своей воли.

– Господин есаул, – спросила Маривчук мягким, вкрадчивым, чуть хрипловатым голосом, присаживаясь к нему на край кровати, – как вы себя чувствуете? Глаза не слезятся?

Казак усмехнулся.

– Только глядя на вашу красоту, сударыня. А больше не от чего…

Люба невольно сравнила себя с Маривчук. Себя она никогда красавицей не считала, Миша когда-то её называл сероглазой царевной-несмеяной. Но Маривчук была не царевной, а, скорее, царицей – гордая спина, длинная белая шея и красивое лицо с правильными чертами были истинно царскими. Не один офицер, едва лишь поправившись, пытался заигрывать с ней. Однако Дину Борисовну, похоже, интересовал только казак, и она своего интереса не скрывала.

Что ж… это даже к лучшему, – убеждала себя Люба, – у меня уже есть жених.

Правда, иногда она с тревогой спрашивала себя: а любит ли она Мишу? Тогда, до войны, ей было лестно его предложение. Совсем молоденькая девчонка – и вдруг бы стала офицершей. Чтобы пробудить заснувшие от разлуки чувства, Люба иногда перечитывала его письма.

“Я чувствую, что с каждым днём ты мне дороже и дороже, Любочка. Прости, что мало тебе говорил, как я люблю тебя…” Какие сладкие, дорогие слова. Бедный Миша, как же тебе, наверное, тяжело переносить всю эту страшную, грязную, кровавую войну… *“Я вижу тебя в шубке и с пушистой муфточкой в руках. Помнишь наше катание на коньках в Таврическом?”* Она уже почти забыла себя ту, беззаботную, когда мама была ещё жива. *“Больше всего мне хотелось бы видеть тебя. И от надежды на встречу сердце бьётся сильно-сильно. В такие минуты я почти счастлив…”*

Мишенька, прости, что я такая чёрствая, – шептала Люба, целуя письма, – я обязательно всё вспомню и… полюблю тебя заново.

Глава 5

…И вот утирайте слёзы… Коня вашего споминайте…
Гуляет его душа по родной Степи…
Все походы со мной прошёл, левое плечико пуля поцеловала,
Все четыре ноги исцарапаны. Семнадцать атак носил…
Ух, не печалуйтесь, не жгите глаза слезами,
Содержите бережно до сына вашего молодого Казака. Я приду…
(И.Шмелёв "Письмо молодого казака")

Посреди глухой ночи Егор вдруг проснулся и открыл глаза. Он прислушался к тяжёлому дыханю спящих товарищей по палате, но так и не понял, что же его выдернуло из глубокого сна.

В окно глядела осенняя тёмная ночь, но не такая тёмная, как в степи, и не такая тихая – за окном мельтешили голые ветки деревьев, раскачиваясь на сильном ветру. В родной станице ночи были чернее, а дома жарче. Матушка любит сильно топить… Бывало, маленький Егор проснётся и думает-мечтает в таинственном мраке тёплой горницы о чём-то неведомом… Он уже и не помнил, о чём мечтал. О том же, что и все, наверное, – о том, как вырастет, как станет бравым казаком-офицером, как отец. И о войне мечтал, чтобы себя показать, а ещё о девчонке-казачке, запавшей в сердце.

Воином он стал, даже отца догнал – есаула на войне дали уже через два года, – правда, жениться на той казачке не получилось, а на других он и не глядел. Тут ещё и в родительской семье всё порушилось. Отец увлёкся другой женщиной – вдовушкой убитого хорунжего, совсем молоденькой, черноглазой и острой на язык. В это лето у неё и сынок народился, говорят, вылитый отец… Позор…

Егор машинально сжал раненую руку в кулак и скрипнул зубами от боли.

Матушка скорбела, но даже подойти боялась к разлучнице, чтобы не вынести сор из избы да фамилию не ославить. Так и делала вид, что всё у них по-прежнему. И старший брат Федька не написал ни полслова Егору, чего уж ждать было от младшего Ромки.

В одну из ночей, когда отец, как вор, ушёл из дома, Егор не выдержал и угрюмо спросил у Фёдора:

– Может, скажешь отцу, чтобы совесть возымел, в конце концов?

Фёдор уже отслужил три года срочной и вернулся домой хорунжим, но против отца идти не возмог.

– Ага, сам иди ему проповедь прочитай. А он тебя вожжами отблагодарит.

Старший брат, невысокий, но кулачищами своими не одного соперника в кулачном бою положил, однако против отца идти не хотел.

Погрузневшая, медлительно-важная фигура отца внушала почтение всей станице. Любил он погутарить с приятелями в своём табачном магазинчике. В такие вечера из открытых дверей лавки на улицу разливался душистый запах табака, сдобренный басистым голосом сотника. Знали о его грешке приятели, но молчали и они, боясь поссориться.

Эх, честь казачья да жизнь собачья, – приговаривали казаки… Теперь Егор с ними бы согласился.

Он сразу заметил материны потухшие глаза из-за отца. Но как ни жалко было её ещё больше печалить, сам наотрез отказался ехать смотреть невесту, которую она ему выбрала.

– Что же ты за казак будешь, Егорушка, без семьи да без детушек? Мне хоть внуков бы на старости поняньчить, – запричитала мать.

– Мало вам, мамо, Федькиных детей? Вон… троих народил.

– Так-то Федины, отцова кровь, а мне хочется и от тебя детушек посмотреть. Уж больно ты на моего батюшку похож…

Однако Егор насмотрелся на казачек, называвшихся жалмерками, ждущих своих мужей. Кто-то из них выдерживал год, два и три одиночества без законного супружника, а кто-то и нежданного ребёнка рожал. Всякое бывало. И детей во чреве травили, и свекрови невесток со свету сживали. Его бывшая подружка Марфа, по которой он скучал более всего в училище, вышла замуж, едва стукнул положенный срок. Нравилась она не только Егору – ловкая, милая лицом, стройная станом, но скромная. А вот… оклеветали её, что мужу изменяла, или вправду грех был? Этого никто толком и не знал. Смерть злую молву потушила, а жизнь молодую порушила.

Нет, такой участи ни для себя, ни для своей молодой жены Егор не хотел. Жалел Марфу сильно и частенько вспоминал. Как-то встретил он её ещё до войны, когда летом отцу приехал помогать…

Стояла самая горячая страда. Станичники перекочевали в степь да в поля. Тесно скученные дома, на высоких фундаментах, деревянные и кирпичные, стояли с закрытыми ставнями и казались необитаемыми. Егор ехал в сторону старой церкви и разглядывал колокольню, напоминавшую бойницу, с облупленной краской на высокой маковке. Марфина тоненькая, гибкая фигурка показалась из-за угла пустынной, нагретой жарким солнцем улицы и словно споткнулась при виде Егора. Он спешился и стал ждать бывшую подружку по играм, вглядываясь в её лицо, – по виду вроде и не сильно изменилась… Только глаза повзрослели – смотрели на него устало и равнодушно. В руках казачки белело письмо.

– Простите, Егор Семёнович, задумалась, не узнала вас сразу, – спокойно поклонилась Марфа.

– О чём же вы задумались, Марфа Ильинична? А, письмо, наверное, от мужа получили, есть о чём подумать, – бездумно брякнул он, а казачка вскинула на него гневные глаза.

– И вы о том же? Слухи собираете, ваше благородие, – скорбно сведя брови, бросила Марфа.

– Слухи? О чём это? Марфа, ты что, не помнишь меня? Что мы как чужие разговариваем?

– Оклеветали меня, Егорушка, – подумав, уже тише ответила казачка, – мужу написали о моей неверности. Свекровь грозит, что не жить мне с её сыночком, а я это и сама чувствую…

– Что чувствуешь? – не понял Егор.

– Что не доживу до следующей Пасхи, ваше благородие… Наша жизнь не ваша, ваша – рубль, моя – копейка… Эх, Егорушка, крепко люби свою суженую да не верь никому… Слышишь? Только ей верь! – горячо попросила она, будто клятву с него брала, – обещаешь?

– Обещаю, – усмехнулся такой горячности Егор.

А как узнал через год, что повесилась Марфа, так уж не до смеха стало…

С отцом всё-таки у них разговор по душам состоялся.

Последний отпуск Егора пришёлся аккурат на Пасху. Как уж водится у православных, казаки и казачки после заутрени потянулись на погост к усопшей родне. Христосовались и на кладбище без счёту. Казачки, не стесняясь, целовались крепко, смачно, обязательно в губы. За поцелуями пошли распросы о своих благоверных. Егор – свой офицер-станичник, живое послание из полка. Рассказывал всё, что знал и не знал.

Мать неожиданно задёргала за рукав.

– Сыночек, там эти… Бероевы… Хотят расспросить тебя, как их Лёва погиб. Стесняются очень…

– Где они? Чего же стесняться? – Егор живо обернулся и стал искать глазами знакомую фигуру щуплого отца погибшего приятеля.

Он не представлял, каково это – потерять единственного сына. Поначалу у Бероевых всё девки рождались, уж и не надеялись они на сына, да, видно, вымолили. Последышем мальчишка родился. А вот теперь погиб, только молодка и осталась. Даже дитя не было.

– Вон там они, у оградки, – указала мать.

Егор оторвался от казачек и направился к поникшим от горя супругам.

Бероев Степан всегда был невелик ростом, а тут совсем от горя сгорбился. В чёрном ветхом бешмете, в потёртой временем папахе, без кинжала на поясе, зато с длинной белой бородой, он, скорее, походил на старика-лесовика, чем на казака.

Во всём его виде сквозила непроглядная, безнадёжная бедность.

– Дяденька, здравствуйте. Христос воскресе!

Егор почтительно поцеловал старика в совершенно сухие губы и повернулся к женщинам.

Мать-старушка только и ждала его внимания – сразу горько завыла, припав к его груди:

– Лё-ё-вочка-а на-а-аш па-а-ги-иб… Го-оре-то какое-е…

Обняв старушку, Егор стал лихорадочно думать, что же им рассказать про сына. То, что было на самом деле, страшно было и вспоминать…

В тот день погиб весь головной разъезд полка, до единого человека. Егор вместе со всеми пришёл проститься с братьями-казаками. За сутки под ярким солнцем их тела уже тронуло тление. Пояса при кинжалах глубоко врезались в животы. У всех были зияющие страшные раны, потому как убили их наповал с близкого расстояния. Лица мёртвых не были похожи на себя, и Егор едва узнал земляка и приятеля детства Лёву Бероева. Раненный в живот, с искалеченным от боли лицом, он так и застыл, умирая в муках…

Стало почему-то стыдно и своих честно заслуженных орденов, и блестящих аксельбантов, да и вообще своего пышущим здоровьем вида.

Что Бероевы хотели слышать от Егора? Немного помедлив, он рассказал, что перед смертью их сын, Лев Степанович, вспоминал и родимого отца, и матушку, и супругу милую. Вспоминал и просил кланяться. Рассказал, что похоронили они сыночка ихнего по-православному обычаю, даже крест поставили. Правда, умолчать пришлось, что крестик совсем маленький вышел – из веточек, потому как крупный хворост казачки весь пожгли в холодные ночи.

От рассказа Егора лица стариков просветлели. Откашлявшись, Степан Бероев стал выспрашивать про коня да седло.

– Дяденька, по закону и конь, и седло в полку остаются, – начал было Егор, но заметив растерянный взгляд старика, добавил: – а вам за это деньги положены… Не сомневайтесь, принесу…

Снова обняли старики Егора и, наконец, расстались почти успокоенные.

Толпа колыхнулась и медленно побрела с кладбища. Пошёл за своими домой и Егор. Но быстро идти не получалось. Его то окликали друзья детства, то почтительно здоровались казаки помоложе, то сам Егор первый снимал папаху и вежливо здоровался со старшими. Улицы станицы пестрели нарядными кофтами молодых, красивых женщин, с которыми бесцеремонно заигрывали казаки, толкаясь и смеясь, а то и, схвативши поперёк, делали вид, что хотят унести из толпы. Казачки визжали и звонко били по спинам непрошенных кавалеров, хотя было видно, что они ничего не имели против слишком вольных любезностей казаков.

– Егор Семёнович, не проходь мимо, – окликнул его Петруха, приятель детства, – в отпуск приехал?

– Здорово, казаки, – подошёл к небольшой группе Егор, – точно, в отпуск…

– Приехал и прячется…

– Да вовсе не прячусь. Пошли ко мне, посидим, – позвал Егор, радуясь отсрочке разговора с отцом.

Так они и ввалились всей шумной, весёлой толпой в дом.

Отец крякнул приветственно и тут же крикнул матери:

– Лиза, собирай на стол, привечай гостей!

Пока мать накрывала праздничный стол, казаки расселись по лавкам и без долгих предисловий стали расспрашивать Егора о службе и сами рассказывать о своих походах.

– А я вот всё, отвоевался, вишь? – Петруха приподнял штанину и показал крупный шрам через всю икру. – Как германец рубанул, так думал, что ноге конец, но ничего, зажило, как на собаке.

– Да на тебе отроду, как на собаке заживало, – подхватил рыжий приятель.

– На себя посмотри…

Казаки беззлобно переругивались, а Егор наконец почувствовал, что вернулся домой.

– Егор Семёнович, а тебе столичная жизнь по сердцу пришлась? Бабы-то покрасивей наших или нет?

– Да я там и жизни особо не видел, – усмехнулся он, – учёбы столько, что и некогда погулять было.

– Рассказывай… Неужто со столичными барышнями шашни не крутил? Как там вообще? Весело?

– Народу больше на улицах, а такого веселья, как у нас, и нет.

– Чего от ответа увиливаешь? С бабами-то разобрался? Красивые там барышни?

– Навидался разных… Мужья у них смирные, а бабоньки такие, что… иной не юбку, а впору штаны носить.

– Тогда здесь ищи себе невесту!.. Мы поможем, если что… Моя сеструха гарна дивчина – добрая и смирная, не пожалеешь!

– Да все они хороши, только откуда потом злые берутся? – шутя отбивался Егор.

Самогону в большой бутыли заметно поубавилось. Казачки шумели. Странно молчал лишь один – Федот Калёный, подхорунжий. Молча выпивая стакан за стаканом, он не шутил вместе со всеми, будто случайно попал в чужую компанию. Егору он инстинктивно не нравился. В прищуре плотного, не очень опрятного казака Егор ощущал непонятный вызов. Между тостами Калёный беспрерывно щёлкал семечки, и чёрные шкурки некрасиво висели на его влажных губах.

– Значитца, ещё не навоевались, ваше благородие? – вдруг с усмешкой спросил Калёный, сплёвывая на пол шелуху.

– Так война вроде не закончилась, – в ответ усмехнулся Егор. – К чему этот вопрос?

– Ретивый конь веку не доживает, – глядя в глаза, ответил подхорунжий.

– Чего каркаешь, дурень? – грубо оборвал его отец, – мой сын трусом не был и за справками к фельдшеру не будет бегать.

– Вы на что намекаете, Семён Егорович? Что я зазря в тылу сижу? Так вам, как никому, известно, что весь наш выводок на мне повис… Отец мой надорвался на вашей землице-то. Али запамятовали? И фельдшер мне не просто так справочку нарисовал, а за ранение!

Федот вдруг выставил перед собой растопыренную пятерню, и Егор увидел, что большого пальца у него не было.

– И вот этими руками я землю пашу. Только от такой работы не будешь богат, а будешь горбат!

– Хватит! – стукнул по столу отец, – я свою землю за кровь пролитую получил и нет моей вины, что твой отец из… России сюда решил переехать. Мы вас не звали, а приехали, так скажите спасибо, что на хлеб можете заработать.

То ли от злости, то ли от выпитого самогону глаза Федота нехорошо заблестели. Поднявшись из-за стола, он сделал пару нетвёрдых шагов и, вдруг, повернувшись ко всей честной компании, шутейно поклонился.

– Вот… говорю спасибо, господа казаки-помещики. Только отольётся вам пролитый пот наш… отольётся. Будете пощады просить… да я не услышу.

– Иди, иди, проспись, – забурчали вслед казаки, – пощады у него будем просить… Рылом не вышел…

Весёлое настроение после ухода подхорунжего не вернулось, и все стали собираться по домам. Егор проводил приятелей до калитки и уселся на крыльце – подышать тёплым ночным воздухом. Скрипнула дверь. Отец вышел покурить любимую трубку.

– Чего Федот к нам вяжется? – спросил Егор.

– Пусть вяжется… Ишь, не нравится ему землю пахать. Звали его сюда, что ли? Пусть не работает, других работников найду.

В темноте он не видел глаза отца, но ощущал его недовольство.

– Отец, но… ведь раньше было всё нормально, – упрямо допытывался Егор, – что случилось, пока меня не было? Или это из-за бабы твоей, будь она неладна…

Отец повернул голову.

– Что? Осуждаешь? Да, я влюбился в Таисью Васильевну, кстати, она тоже с русской улицы… А этот толстый… со своим рылом в калашный ряд попёрся. Пришёл к ней, мол, выходи за меня… Она ему от ворот поворот, – в темноте злорадно закончил отец, оглядываясь, не открылась ли дверь в дом,– так что не водись с ним, да и вообще, с голытьбой, с этими Бероевыми, нечего якшаться… Ты офицер, должен блюсти свою честь.

– Честь, говоришь… – вскочил Егор, чувствуя, что закипает, – честь я на поле боя блюду, батя, а вот в мирной жизни честь по-другому понимаю. Не так, как ты… Разные у нас с тобой взгляды.

– Может, судить отца будешь? А что… давай, зови на Круг да обвиняй при всём честном народе…

– А и вызову! Хватит над матерью измываться! – повысил голос Егор.

Отец не ответил. Где-то далеко просвистел паровоз. Прошли томительные несколько минут. Егор присел на крыльцо, почувствовав усталость от длинного дня.

– Эх, Егор, – пыхнув пару раз трубкой, голосом усталой грусти продолжил отец, садясь с ним рядом: – глупый ты, хоть и дослужился до есаула… Разве я не понимаю, что матери больно делаю? Понимаю… Но сердце такая штука… Баба не заноза, иглой не вытащишь. Войдёт в нутро – чистый яд… И себя не помнишь, и жену забудешь, и совесть, – понижая голос, закончил отец.

– А что же… мать ты так не любил, получается? – глухо спросил Егор, поднимая голову.

– Любил, но не так. Такая любовь, сын, по моему разумению, только раз в жизни даётся. Вот и мучайся с неё…

– Если чужой бабой увлечься или свою предать, тогда и мука, – строго ответил Егор, – а если по любви жениться, чего ж мучиться?

Отец усмехнулся.

– Как у тебя всё просто. Хорошо, если тебе повезёт и будет всё гладко. Следи за сердцем, сынок, оно-то тебя не спросит.

– Услежу, батя, – вставая, чтобы идти в дом, ответил Егор, – я не ты…

Рядом застонал раненый. Пожилая санитарка, дремавшая в углу большой палаты, пробудилась не сразу, видно, уморилась за ночь-то.

– Сестра, – позвал Егор, поглядывая на спящих товарищей, – сестра…

Открыв глаза, она оглядела невидящим взглядом палату, и, услышав стон, быстро подхватилась.

– Иду, иду, милок, тише, тише… А давай-ка я тебе холодненькое полотенечко на лоб положу, – захлопотала она, – вишь, жар у него, касатика, – обратилась шёпотом она к Егору.

– Вижу…

– А ты чего же не спишь, соколик?

– Залежался я, мать, непривычно столько спать-то. Чувствую, что здоров, только рука ещё побаливает.

– Ничего-ничего, полежи, отдохни. Кровушки-то сколько потерял. Наша докторша цельные ночи тебя выхаживала.

Словоохотливая сестричка хоть и уговаривала поспать, а сама и рада была разговором свой сон разогнать – уселась рядом с его кроватью.

– Докторша? Такая молоденькая? Любовь Матвеевна?

– Ага, она… Уж как переживала. Нас спать отправляла, а сама дежурила. Приглянулся ты ей, видно, – хитро улыбнулась санитарка, зорко следя за его реакцией.

Егор удивился и вспомнил рассказ докторши о Небесном табуне… Вот что значит столичная барышня – начитанная и образованная.

Любовь Матвеевна ему нравилась. Держалась она с обезоруживающей простотой, но все её чувства и мысли были спрятаны глубоко, не на показ. Лишь иногда по её серым большим глазам можно было угадать её настроение. В докторше подкупало её постоянное желание быть полезной раненым. Для всех у неё находилась и улыбка, и доброе слово.

Чем-то они были похожи с Великой княгиней. Однако, как он заметил, Любовь Матвеевна делала всё гораздо решительнее и ни на кого не оглядывалась. Пытались с ней спорить её коллеги, но Егор был свидетелем, как, выслушав всех по поводу ампутации новенькому раздробленной кисти, она всё-таки взялась за операцию, желая сохранить конечность, и не ошиблась. Таким был её отец, что спас ему руку. Егор пошевелил пальцами и вздрогнул от мысли, что мог бы сейчас быть инвалидом.

Кого же она ему напоминала?

Может, Марфу? Та тоже была бедовой… – ожгла догадка, но додумать он не успел – сон взял своё.

Глава 6

Отец за завтраком вопросительно посмотрел на Любу.

– Ты не забыла моё поручение? Встречалась с Олейниковым?

От упрямства Люба сжала губы и молчала.

– Нет, – наконец выдавила она, – я не знаю, что ему рассказывать про наш госпиталь.

– Люба, прошу тебя – придумай, – нахмурился отец, – у нас со снабжением просто катастрофа. Ты можешь хоть раз отложить своё упрямство и выполнить мою просьбу?

– Вот, папа, – влез довольно ухмыляющийся Шурка, – меня пилит, а сама такая же упрямая.

– Я постараюсь, – буркнула Люба, бросив строгий взгляд на брата, но тот сделал вид, что его не заметил.

Впрочем, придумывать ничего не пришлось. Их размеренную, хотя и нелёгкую жизнь нарушило событие, заставив гудеть весь госпиталь. В дальнюю, самую маленькую палату положили раненого дезертира, выставив возле его кровати охранника.

Любопытный медперсонал по очереди заглядывал в палату к арестанту, а больные перешёптывались, гадая, что его ждёт. Не удержалась и Люба. И поздно вечером под надуманным предлогом зашла к нему. Какой он из себя – арестант под грозным конвоем?

Её глазам предстал спящий юноша, чуть постарше Сашки… Он спал беспокойно, сжимая кулаки и ёрзая ногами. Как же так? Что ему грозит? Какой ещё суд может быть над этим ребёнком? Расширив глаза от удивления, она смотрела и не могла сдвинуться с места. Рядом спящий конвоир вдруг открыл глаза.

– Вам чего, доктор? – тихо, но с суровостью спросил он.

– Ничего, служивый, просто не могу поверить, что его должны судить, – откровенно ответила она.

– Должны, – подтвердил он, садясь в кровати, – должны и расстрелять по закону-то… Потому как дезертир…

Люба сжала виски руками. Немыслимо. Что же это за бежалостные законы такие? Россия, словно не мать, а мачеха, в которой царь-тиран губит молодых, умных и беззащитных – то в тюрьмы сажает, то расстреливает, то на каторгу отправляет…

Скрепя сердце, Люба ещё прошлась по палатам, но перед глазами стояло нежное, по-юношески румяное лицо осуждённого на смерть юноши. Еле дойдя до кушетки в своей каморке, она бросилась лицом в подушку и зарыдала.

Вся больница жалела несчастного поручика. Сердобольные медсёстры и санитарки приносили ему из дома сладости, а доктора лишний раз осматривали и уверяли, что всё у него будет хорошо. Поначалу грозные, вскоре конвоиры смягчились от перепадавших и им подарков и уже отпускали несчастного погулять, садясь рядом с ним на скамейку покурить без всякого оружия. Лишь отец был удивительно спокоен.

– Папа, ты не волнуешься за бедного поручика? – не выдержала как-то Люба вечером.

Отец оторвался от газеты и задумчиво посмотрел на неё.

– Не волнуюсь.

– Ты думаешь, его помилует государь?

– Откуда мне знать? – пожал он плечами, – будем надеяться.

– Но разве можно быть таким спокойным, если бедняге угрожает смерть? Я не знаю, что с ним произошло на поле боя, но можно же понять, что такой молоденький мальчик просто испугался?

– Я доверяю государю, он разберётся. Ольга Александровна поехала к нему на фронт. Когда она вернётся, мы её попросим походатайствовать за несчастного, – рассеянно ответил отец.

В дверь постучали. И Люба даже знала, кто это…

– Не помешаю, Матвей Ильич? – вплыла Надежда Григорьевна с тарелкой в руках, как официант, – пончиков испекла вам к столу, уж не побрезгуйте.

Сладко улыбаясь, она водрузила на стол тарелку с аппетитной выпечкой. Надо отдать ей должное – пахло вкусно. У Сашки загорелись глаза, и он сразу схватил жареный пирожок. Но Любе есть не хотелось, её больше интересовало, как долго отец будет позволять этой хохлушке с вульгарно намалёванными щеками лезть в их семью? Однако папа отреагировал неожиданно: он вежливо приподнялся и предложил ей попить чаю вместе с ними.

Эта лиса и не удивилась вовсе – тут же распахнула свою шаль, показывая крупную грудь, и уселась за стол. При отце она говорила гораздо меньше, заглядывала глаза и ловила каждое его слово. Видимо, отцу это нравилось – он начал шутить и рассказывать бородатые анекдоты из врачебной практики… Его было не узнать…

В голове Любы мелькнула тревожная мысль: уж не положила ли Надежда Григорьевна глаз на отца? Так и окрутит папу… Настроение испортилось. А как же память о маме? А как же они с Сашкой? Люба извинилась и пошла собираться в больницу. Отец пристально посмотрел на неё своими умными глазами, но только кратко спросил:

– Ты не подождёшь меня? Я тоже сегодня дежурю.

– Пойду схожу на Фундуклеевскую, – с вызовом ответила Люба, – я придумала, о чём можно написать в газете.

– Хорошо, встретимся в больнице. Только не ходи по тёмным переулкам.

– Та что вы волнуетесь, Матвей Ильич, доченька у вас уже большая, да и сынок самостоятельный. Дюже хорошие детки…

Соседка ещё что-то говорила, но слушать её было выше Любиных сил. Если папа женится на ней, придётся искать новую квартиру. Зачем Люба приехала сюда? Надо было сидеть в Петрограде…

Фундуклеевская улица находилась довольно далеко от дома, но идти было не страшно – люди ещё не засели по домам. Беспрерывно обгоняли мальчишки-газетчики, выкрикивая звонкими голосами последние новости. Мимо проезжали трамвайчики, набитые пассажирами, будто семечками огурцы. Пролётки и авто, словно упрямая скотина, не желали мирно разъезжаться, и звуки клаксонов раздражали слух. И всё-таки наступавшие сумерки вселяли тревогу.

Люба невольно ускорила шаг и лишь перед самой редакцией приостановилась. А что, собственно, она расскажет про несчастного дезертира? Да и будет ли Олейникову это интересно? Но… другого сюжета у неё не было. Он что-нибудь придумает, – успокоила себя Люба и потянула на себя тяжёлую дверь трёхэтажного кирпичного дома, над которым красовалась вывеска “Кіевская мысль”.

Сразу за дверью, в просторном помещении, стояло несколько столов, за которыми сидели женщины и, не отрываясь, стрекотали на печатных машинках. Между столами, с папироской в зубах, ходил маленький, толстенький мужчина и периодически наклонялся то к одной машинистке, то к другой.

– Милочка, вы пропустили буквочку, а здесь не “и”, а “е”… Хосподи, хде же мне взять терпение на этих милых, но хлупых созданий? Вам кохо? – обратился он к Любе.

– Мне нужен Сергей Фёдорович.

– Ещё одна красавица… – буркнул про себя толстячок и указал на вторую дверь в глубине комнаты.

Олейников сидел за большим письменным столом и с довольным видом читал собственную газету, водя островатым носом по строчкам вместе с глазами. Увидев Любу, он на мгновение застыл, но тут же, бросив газету, широко раскинул руки.

– Ну наконец-то, барышня, а я уже сам хотел к вам идти. Написали очерк? Прошу, прошу вас садитесь.

Люба присела на краешек жёсткого скрипучего стула и строго, как на Шурку, посмотрела на журналиста.

– Писать очерк – это ваша работа, Сергей Фёдорович, а я… придумала, о чём можно рассказать горожанам.

Глаза Олейникова подозрительно блестели, и Любе показалось, что в воздухе витает странный запах… Заметив початую бутылку вина на окне, она поняла его истоки, так же как и причину блеска в глазах журналиста.

– Давайте, давайте, – потёр руки Олейников, – слушаю вас.

Рассказ о горе-дезертире, которого должны судить военным трибуналом, получился эмоциональным. Люба увлеклась и забыла и про запах, доносившийся от Олейникова, и про его длинноватый нос. Сейчас он был единомышленником.

– Солдатик такой… молодой, неопытный… Напишите что-нибудь в его защиту. Может, это… повлияет на суд… Его зовут Красильников Валентин.

Журналист откашлялся.

– Конечно, вы правы, поднимем общественность… Хм-м-м… Царь не сможет не прислушаться к мнению народа. Да и вообще, Любовь Матвеевна, – он крупно сглотнул, – на таких, как этот юноша, вскоре будут смотреть, как на героев, идущих против войны. Больше будут уважать тех, кто… продолжал заниматься мирным делом… наукой, например, или людей лечил, как вы…

– Или как вы, занимался журналистикой? – насмешливо спросила Люба, вставая.

– Или как я, вы правы, – с вызовом ответил Олейников, стреляя глазами на бутылку, которая при свете уличного фонаря загадочно светилась тёмно-изумрудным светом.

– Так вы напишите про… Валентина?

– Обязательно напишу, не волнуйтесь, я что-нибудь придумаю.

На улице, где-то вдалеке, послышался какой-то шум.

– Что это? – Люба обернулась к окну.

– Что? – журналист смотрел на неё недоумевающе, но потом прислушался. – А, это… еврейский погром. Рынок громят. Говорят, евреи нарочно договорились товар прятать и цены поднимать. Вот в городе очереди-то и растут…

– И вы в это верите? – нахмурилась Люба.

Олейников встал из-за стола и медленно приблизился к окну, делая вид, что не обращает внимания на початую бутылку.

– Я не верю, барышня, поэтому и не участвую в погромах, как видите… Кстати, вы не боитесь идти одна? – обернулся он. – На улице сейчас всё может случиться, да и темнеет уже. Может, вас проводить?

– Не боюсь, прощайте, Сергей Фёдорович.

Люба решительно вышла из кабинета, но, открывая дверь на улицу, замешкалась. Всё-таки Олейников был прав – в Петрограде она насмотрелась на подобных громил. Таким что лавку грабить, что человека – было всё едино. И хоть у неё денег не было, могли содрать пальто, а то ещё и… снасильничать.

Как нарочно, именно в той стороне, где находился госпиталь, послышался звон разбитого стекла и яростные, грубые выкрики. Люба замерла в раздумье, выискивая глазами пролётки, но тех не было видно, да и вообще – город словно вымер.

Она медленно пошла по тёмной улочке. В душе, словно набат, билось чувство тревоги… Листья каштанов и клёнов, подгоняемые ветром, бежали вслед, и казалось, что их вместе с ней засасывает в какую-то страшную воронку…

– Любовь Матвеевна! – вдруг услышала она окрик и очнулась, вглядываясь в темноту.

Из соседнего переулка показался всадник, галопом мчавшийся прямо к ней.

– Егор Семёнович? – растерянно пролепетала Люба, – вы как здесь?

Он ловко спрыгнул с коня, как здоровый, но его больная рука была подвязана.

– Матвей Ильич пришёл в госпиталь и стал вас искать. А я услышал, что в городе начались беспорядки и поехал за вами. Он сказал, куда вы пошли.

Похоже было на то, что молодой есаул только и ждал случая прокатиться верхом.

– Спасибо, – Люба уже забыла про страхи, ей хотелось глупо улыбаться от счастья, но она сделала серьёзное лицо, – там что-то громят?

– Да, я предлагаю пойти в другую сторону. Давайте по набережной обойдём, а там где-нибудь свернём к госпиталю.

Согласно кивнув, она всё-таки не удержалась от счастливой улыбки.

Они вышли на набережную Днепра. Уже совсем стемнело, но в воде отражалась полная луна, и всё было освещено таинственным голубым светом. Чужой и враждебный город вмиг преобразился в мирный и поэтический.

– Как красиво, – восхищённо прошептала Люба, глядя на воду, – прямо как в белые ночи в Петербурге…

– Скучаете по столице, Любовь Матвеевна?

– Скучаю, – вздохнула она, – но того Петербурга больше нет, так же как нет прежней меня… Расскажите лучше о себе, Егор Семёнович. Вы же в Петрограде училище закончили? И потом сразу на войну?

Он помолчал немного.

– Да, Николаевское училище закончил. Хотел домой съездить, в родную станицу, жениться как все, – его слова заставили сердце Любы замереть, – а тут… война, мобилизация. Может, и к лучшему, что не женился, а то думал бы всё время, не забыла ли меня моя жёнка-жалмерка? Казачки бабы бедовые, не удержат рукавицы ежовые! А, что скажете, Любовь Матвеевна, прав я или нет?

Люба отвернулась. Ей показалось, что Егор ёрничает, скрывая внутреннюю боль. После его рассказа о погибшей девушке она не верила, что он так легко ко всему относится.

– Вам лучше знать, а по мне – и правы, и не правы, – сухо ответила она, – если жениться лишь бы… детей наплодить, то, наверное, лучше дождаться окончания войны. А если найти ту… единственную, то она может и всю жизнь ждать.

– Как же не ошибиться? – всё ещё весело, с лёгким удивлением спросил Егор. Казалось, он не хотел сдаваться, но Люба уже видела мелькнувший интерес в его глазах.

– Сердце подскажет, – нарочито спокойно сказала она, едва владея голосом от волнения, – может так же, как человек различает голос Бога в себе.

– Ого! Э, как вы загнули…

– Прошу вас, не смейтесь.

– Я и не думал.

Егор, приостановившись, обернулся к ней. Лицо его из мальчишеского вмиг преобразилось, и рядом с ней сейчас стоял взрослый, познавший и настоящую жизнь, и настоящую смерть, мужчина. Он ждал объяснений, и Люба продолжила, всё больше и больше волнуясь:

– Мне кажется, голос Божий в душе нельзя ни с чем спутать. Это и не совесть, ни мысли, ни твои рассуждения… Он другой. Ясный и… добрый. Он несёт в сердце свет. Так же, наверное, и с настоящим суженым… ну, или с суженой, – она горячилась, но уже не могла остановиться, – как узнаешь его… или её, так уже не сомневаешься, что это на всю жизнь. И чем

хуже вокруг становится мир, тем больше ценишь любимого человека. У тебя в сердце словно загорается огонёк, с которым тепло всегда, и никто-никто не может его потушить.

– Вы имеете в виду любовь с первого взгляда? – снова усмехнулся Егор, но взгляд его оставался задумчивым.

– Вовсе нет, не обязательно. Конечно, нужно узнать узнать друг друга. Но иногда и с первого взгляда бывает, – мучительно краснея, закончила Люба и поспешно отвернулась к воде.

– А вы ведь не замужем, Любовь Матвеевна?

– Я обручена, – мужественно бухнула она.

Он помолчал.

– Чего же ещё не обвенчались?

– Миша ушёл поручиком в первые же дни войны и пропал. Какое-то время мы переписывались, а уже почти год от него ни слуху, ни духу, – вздохнула она, – что с ним? Может, погиб или без памяти где-нибудь лежит? А может, у него вообще другая семья?

– Объявится ваш жених, если живой, – протянул Егор, похлопывая коня по шее, – не переживайте. Не может он бросить такую девушку. Вы ведь ждёте его?

Люба решила идти до конца.

– Жду, но с ужасом думаю, что должна выйти замуж за чужого мне человека. Вот так вот… Мы очень мало узнали друг друга… Всё, что я вам наговорила про суженого, я только сейчас поняла. А тогда, в семнадцать лет, дала обещание, почти не раздумывая.

Егор внимательно смотрел на неё и уже не улыбался.

– Может, нужно ему просто сказать об этом?

– Да, вы правы, лучше сказать, чем жить без любви. Боюсь, что своими словами я ещё больше испортила ваше мнение о женском поле.

– Не испортили, – ответил Егор с лёгкой усмешкой, – скорее, озаботили…

Егор здоровой рукой вёл под уздцы старенькую лошадь. Его куртка, накинутая на одно плечо из-за повязки, при налетевшем ветре широко распахнулась. Люба забеспокоилась.

– Вы не замёрзли, Егор Семёнович?

– Нет, – в полутьме его зубы блеснули от лихой улыбки, – после двух лет войны такой холод уже не кажется холодом… Гораздо тяжелее привыкнуть к потере друзей… И любимого коня, – он вздохнул. – Кстати, Ворон мне до сих пор снится. Матвей Ильич спас мне руку, а вы… мою душу. Ваш рассказ про Небесный табун и Костлявую лошадь здорово отрезвил.

– Значит, вам есть ради кого скакать по земным дорогам?

Егор пожал плечами и подмигнул по-мальчишески.

– Пока не уверен, а там посмотрим. Как говорится, Бог не без милости, а казак не без счастья. Так чем мне вас отблагодарить, Любовь Матвеевна?

– А позанимайтесь с моим Шуркой верховой ездой, – осенило её, – он мне весь мозг проел, что хочет быть казаком.

Егор улыбнулся.

– С удовольствием поучу… Пусть приходит. Сколько ему лет?

– Десять, но он всем говорит, что скоро одиннадцать, – тоже с улыбкой ответила Люба, – помню, когда Шурка был маленький, он всё мечтал покататься на лошадке. Тогда я сажала его на колени и читала ему стишок Саши Чёрного:

Я конь, а колено – седельце.
Мой всадник всех всадников слаще…
Двухлетнее тёплое тельце
Играет как белочка в чаще.

Склоняюсь с застенчивой лаской
К остриженной круглой головке:
Ликуют серьёзные глазки,
И сдвинуты пухлые бровки…

Подступивший к горлу ком заставил её замолчать. Почему она вдруг вспомнила то время? Почему рассказывает Егору то, что не говорила даже отцу? Люба мучительно застеснялась собственной откровенности, но есаул улыбнулся ласково-понимающе.

– По-моему, вы очень хорошая сестра. Саше повезло.

– Если можно назвать везением то, что наша мама умерла, – со вздохом возразила Люба.

Она прислушалась – собаки ещё в центре города брехали, однако разбойничьи крики уже затихли. Наверное, всё разграбили и разбежались по домам.

– Завернём здесь, я знаю эту улочку. Тут недалеко до госпиталя.

Расставаться не хотелось, но она уже и так опоздала на дежурство. Последние метры до госпиталя они прошли в полной тишине, нарушаемой лишь цоканьем копыт покорно идущей сзади кобылки.

Во дворе госпиталя им встретился пожилой солдатик, оставшийся после ранения работать конюхом. Он взял кобылку за уздечку и повёл к конюшне. Оттуда раздалось тихое ржание.

– А это что за конь? – спросил есаул, поворачиваясь.

– Энто старичок наш уж много лет служит при госпитале, – улыбнулся конюх, – дюже любопытный, но смирный. Желаете прокатиться, ваш благородь?

– Желаю, – вздохнул казак, – но в следующий раз. Если он смирный, то как раз подойдёт для вашего брата, Любовь Матвеевна. Пусть приходит, на днях и начнём учиться.

Из-за угла, как поджидавший грабитель, налетел холодный ветер и снова распахнул куртку Егора.

– Егор Семёнович, – придавая голосу строгости, сказала Люба, – я прошу вас не стоять на таком ветру, да ещё и без шинели. Пойдёмте внутрь.

– С вами с удовольствием, – ухмыльнулся есаул, придерживая перед ней дверь.

Когда они вошли в опустевший холл госпиталя, от близости казака Любе стало жарко. Глаза у него были синие-синие… Так бы и глядела…

– Любовь Матвеевна, вы собираетесь сегодня работать? – вдруг сверху раздался металлический голос Маривчук.

– Да, простите…

Люба нахмурилась и, кивнув ему на прощание, быстро побежала по лестнице. Однако наверху она всё-таки не удержалась и глянула вниз, куда простучали каблучки заведующей. Конечно же, Дина взяла под руку есаула, как простая санитарка, и повела его в палату.

– Нельзя же так… А если вы простудитесь? Мы с таким трудом выходили вас…

Что он ей отвечал, Люба не слышала, закрыв за собой дверь в ординаторскую. Она быстро надела халат, потом неловко, поспешно отпила невкусной кипячёной воды, облив и подбородок, и грудь, и уже ринулась на вечерний обход, как вдруг остановилась и задумалась: зачем она так разоткровенничалась? На что она надеется?

Люба медленно подошла к тёмному окну, в котором отразился её силуэт, с тонкими белыми руками, такой же белой шеей и длинной девичьей косой, – ничего особенного… Конечно, есаулу больше понравится фигуристая Маривчук. Но чем больше Люба убеждала себя в этом, тем больше ей хотелось плакать, потому что она уже влюбилась.

Глава 7

Все последующие дни стали для Любы истинным мучением. Ей хотелось видеть Егора, слышать его голос, дышать рядом с ним. Всё вокруг без него лишилось смысла…

Егор, Егор, где же ты был раньше, ведь ты учился в том же городе, что и я? Мы могли бы вместе гулять по Екатерининскому каналу, слушать соловьёв на Заячьем острове, вместе кормить соек в Летнем саду… Почему я встретила Мишу, а не тебя, ведь ты не был женат? – с тоской думала Люба.

К Егору в палату она старалась не заходить, но она и так его всё время видела и слышала… в отличие от Миши, которого почти забыла…

Как же можно было так легкомысленно дать обещание едва понравившемуся человеку? – корила она себя. – Но жалеть об этом было поздно. Может, Мишину волю к жизни поддерживает мысль, что его ждёт любимая девушка. Обмануть такую надежду нельзя.

Ольга Александровна вернулась из ставки со своим любимым Куликовским и со сдержанным ликованием шепнула Любе, что царь обещал дать развод, когда приедет в Киев. Люба за неё радовалась, но не от всего сердца, словно Ольга Александровна была виновата в том, что подавала пример истинного благородства, от которого нельзя отмахнуться, как бы ни хотелось. А тут ещё Николай Александрович Куликовский – "Кукушкин", как его ласково называла Ольга Александровна, – признал в есауле своего однокашника – они с небольшой разницей в годах закончили военное Николаевское училище в Петербурге, – и приходил его навещать в госпиталь. Тут же рядом с ними оказывалась и княгиня, и вместе они составляли кружок почти счастливых людей. Люба смотрела на них издалека и мучилась от ревности…

– Люба, вы так и не получали писем от жениха? – как-то спросила княгиня.

– Нет, Ольга Александровна, – пряча взгляд, ответила Люба. – А вы отправили запрос?

– Да, конечно, – с жаром подтвердила та, – не волнуйтесь, если он жив, то обязательно откликнется.

Ольге Александровне, окрылённой надеждой на венчание с любимым, хотелось, чтобы все вокруг были так же счастливы, как она. Ощущая напряжённое состояние Любы, подруга пыталась её подбодрить, но неправильно понимала причину этого напряжения.

Ночью Любу стали мучить кошмары. К утру она почти ничего не помнила, но однажды ей приснилось то, что случилось на самом деле много лет назад.

Было похоже на позднюю осень. Вечер тёмный, но снега нет… Люба бежала по узкому переулку близ Сенной и высматривала фигурку брата. Наконец она его увидела. Кто-то дал брату велосипед, и тот нёсся прямо на стаю голубей. Буря крыл поднялась в небо, лишь один голубь не успел… Колесо велосипеда проехало прямо по серо-белому крылу.

– Шурка! Шурка! – закричала Люба, – ты что!..

От крика она проснулась. Сердце билось, будто она бежала по-настоящему.

Люба смотрела в темноту большого окна и вспоминала. Да, он тогда задавил несчастную птицу. Почему-то её страшно поразил тот случай.

Когда большое и грязное колесо пригвоздило голубя к земле, тот даже не оглянулся, быстро засеменив трёхпалыми лапками прочь. Подбежав ближе, Люба поймала бедолагу. Тот смиренно сидел в ладошках и лишь вертел маленькой головкой, поглядывая на неё своими глазками-бусинками, будто ничего не произошло. Но Люба видела, что он обречён – повреждённое крыло напоминало сломанный веер, с бруснично-кровавыми капельками у основания. Кровь окрасила её пальцы…

– Он теперь умрёт, бедный, – заплакала она, – умрёт… Его заклюют вороны.

Кротость маленького создания, его спокойное принятие своей участи, его незлобивость и доверие Любиным тёплым рукам вызвали у неё безудержные рыдания. Шурка испугался её реакции и сам чуть не плакал, стоя рядом. После этого случая он долго не садился на велосипед.

Тогда Люба впервые поняла, что быть кротким, как голубь – значит принять свою судьбу и не роптать. Почему же ей приснился этот сон? Она ропщет на судьбу? Пожалуй, да…

Странно, но после этого сна ей стало легче. Она внутренне смирилась, что земная жизнь – это крест, который каждый должен нести без ропота, лишь бы Бог не оставил… Может, в монастырь уйти, как тётя? – мелькала мысль. – А куда я Сашку дену? Без меня он совсем пропадёт…

Шурка выглядел по-настоящему счастливым, когда приходил на больничную конюшню учиться ездить верхом. Есаул сдержал обещание и терпеливо обучал мальчишку премудростям верховой езды. Люба в такие минуты прилипала к окну и следила, как брат гарцует на послушной кобылке. Но вскоре Люба стала прятаться за занавеской – слишком уж часто Егор поглядывал в окно.

После занятия Люба всегда старалась покормить брата в больничной столовой.

– Представляешь, лошадью можно управлять даже мыслью! Вот Егор Семёнович едва удилом поведёт, и та уже поворачивает, представляешь? А может и вообще без рук ехать. Егор Семёнович самый лучший казак, – кусая по очереди то солёный огурец, то горбушку возбуждённо заявил он за обедом, – он мне сказал, что я так тоже могу научиться, но для этого нужно жить рядом с лошадью…

Он замолк и вопросительно посмотрел на Любу.

– Ты хочешь жить на конюшне? Я против. А ещё что ты узнал?

Брат обиженно засопел, но желание поделиться победило.

– Ещё казаки ездят не так, как кавалеристы. Они не подпрыгивают и ноги держат вытянутыми. А если подпрыгивать, то у лошади набивается холка. Вообще, дядя Егор сказал, что нужно научиться справляться с лошадью без мундштука. Казаки не пользуются мундштуком, только удилами и плетью. И знаешь, что они умеют?

– Что? – еле сдерживая улыбку, спросила Люба.

– Представляешь, если в бою кого-нибудь ранят и лошадь убьют, то казак может на скаку схватить товарища и увезти с поля боя!

– Здорово.

– Кстати, дядя Егор про тебя спрашивал.

– Тише ты, – нахмурилась она, оглянувшись, не слышал ли кто…

Но в больнице обед уже закончился, и лишь несколько санитарок собирали посуду с длинных столов.

– И что же он спрашивал? – не вытерпела она, покусывая губы.

– Ну-у… спросил, какая ты?

– Что значит, какая?

– Ну-у… строгая или добрая?

– Хватит нукать. А ты что?

– Я сказал, что разная… Но больше добрая, просто притворяешься злой.

Люба потрепала брата по голове.

– Мы на завтра договорились.

– Что? – рассеянно спросила Люба, – о чём договорились?

– Заниматься… О чём же ещё? – сытно зевнув, ответил брат, поднимаясь из-за стола.

– Хочешь полежать в ординаторской?

– Вот ещё, – забурчал Шурка, – я тебе что, маленький, спать днём?

– Не ворчи, – засмеялась Люба, – взрослый мой…

Брат убежал, а Люба ещё посидела за столом, допивая остывший чай. Она не понимала Егора – кто ему нравится? Люба или Маривчук? Та в открытую ухаживала за ним, а он её не отталкивал, лишь отшучивался… Впрочем, Люба не знала, как далеко зашли их отношения.

Общаясь с Егором на улице, Люба замечала, что Маривчук следит за ней из окна своего кабинета, а потом, при встрече, пронзает почти огненным взглядом. Ревность в сочетании с красотой Дины делала её похожей на ведьму. А что если… они, действительно, станут соперницами?

На следующее утро весь госпиталь гудел. Свершилось – в Киев приехал царь Николай.

– Ольга Александровна сказала, что он заедет после обеда, – кинул ей отец в ординаторской, безуспешно пытаясь попасть в рукав белого халата. – Я пригласил прессу и нашего знакомого… этого… Олейникова. Проследи, чтобы его охрана пропустила.

Люба кивнула, чуть нахмурившись. Она не верила, что будет толк от его писанины, но отец сказал, что после её заметки про дезертира стали поступать пожертвования.

Санитарки и врачи бегали по длинным коридорам как ошпаренные. Раненые дисциплинированно лежали на своих кроватях, однако находились ворчуны, неспособные потерпеть без курева ни одного часа.

Ровно в четыре часа к госпиталю подъехало авто. Люба выглянула в окно ординаторской. Какой он – царь? Боже, неужели этот худой и бледный, с измученным, уставшим лицом, и есть наш император?

Люба бросилась ближе к палате дезертира, предполагая, что туда Николай придёт обязательно… В коридоре врачи и санитары выстроились в виде почётного караула, а царь медленно, в сопровождении Ольги Александровны и Любиного отца, обходил палату за палатой. За спинами медперсонала стоял и Олейников, выделяясь из толпы чёрным костюмом и тяжёлым фотоаппаратом на шее, оттягивавшим белый, накрахмаленный воротник. Его тёмные, маслянистые волосы были зачёсаны назад, и он то и дело изящным и гордым движением откидывал чёлку со лба, раздувая при этом тонкие крылья длинного носа. Рядом с ним находилась Дина Борисовна, одетая хотя и как все, в белый халат, однако в её позе – руки в карманах – и в еле заметной усмешке сквозила демонстративная отстранённость от всего происходящего.

Наконец, процессия приблизилась к палате со злосчастным узником. Казаки-охранники вытянулись перед царём, но тот, лишь кивнув им, подошёл к лежавшему в кровати поручику.

Даже издалека было заметно, что тот окаменел от страха. Николай, видно, уже всё знал и понимал его состояние. Подойдя ближе, он положил руку поручику на плечо и, чуть наклонившись, спросил, почему тот дезертировал.

– Ваше величество… – молодой человек еле владел трясущимися губами, – у меня кончились патроны и я… испугался. Вот и побежал назад…

В палате чёрной горошиной билась об стекло проснувшаяся муха. Все, затаив дыхание, ждали.

– Поручик, вот мой приговор – вы свободны, – просто сказал Николай.

Бедный юноша вдруг сполз с кровати, бросился на колени и обхватил ноги царя. Он плакал, как малое дитя, а за ним плакали и все остальные, даже те петроградские сёстры, которые не любили Ольгу Александровну. Как же преданно смотрели на царя раненые… На миг почудилось, что все снова едины – русский царь и русский народ…

Люба перевела торжествующий взгляд на Олейникова, стоявшего за спинами врачей, у входа в палату, но того будто не заинтересовал этот случай. Сергей Фёдорович наклонился к Дине, и до Любиных ушей долетело:

– Лучше бы он в Петроград поехал. Там во многих воинских частях уже не слушаются командования. Армия напоминает пороховую бочку.

– Да, я знаю, – кивнула Маривчук, – чего удивляться, если нет ни хлеба, ни электричества, ни порядка.

Олейников с Диной вышли вслед за всеми из палаты, разговаривая уже почти не таясь. Люба шла сзади, как заворожённая.

– Говорят, на фронте участились случаи отказов идти в наступление. Попомните моё слово, – журналист неприятно усмехнулся, – ему (он кивнул в сторону царя) недолго осталось.

– Я слышала, в Нижегородской области женщины-солдатки бунтуют.

– Если среди них нашлась хоть одна, похожая на вас, Дина Борисовна, то я не удивлён, – сладко улыбнулся Олейников, на ходу целуя руку Маривчук.

Заведующая неожиданно обернулась и резко остановилась, так что Люба чуть не наткнулась на неё.

– Подслушиваете, Тихомирова? Может, донесёте на нас? – отчеканила она.

Люба вспыхнула.

– Что же я должна донести? Как вы всех ненавидите?

– Ну что вы, Любовь Матвеевна, – приторно сладко заулыбался Олейников, пытаясь взять её руку, но Люба отступила на шаг назад, – мы никого не ненавидим. Наше самое горячее желание, чтобы наступил мир. Правда, Дина Борисовна?

Та не ответила, всё ещё сверля взглядом Любу. Розовые пятна покрыли её щёки. Но это было не смущение, не страх, а ненависть, неприкрытая ненависть и вовсе не из-за политики, а из-за негласного женского соперничества. Олейников этого не знал, но Люба и Маривчук понимали друг друга без слов, как понимают либо близкие подруги, либо заклятые враги.

Глава 8

О чём же подумать перед смертью? Молитва почему-то не шла, а в душе Михаила жила странная уверенность, что Бог и так помилует… Но о чём же подумать, чтобы перед расстрелом унять предательскую дрожь?

В голову полез Достоевский со своим сумасшедшим Мышкиным… Нет, Михаил не желал помилования, как герой-идиот. В этом была сила капитана Столетова. Живя (если только можно было назвать это жизнью) в лагере для военнопленных, Михаил сделал осознанный выбор: чем быть рабом в плену, голодая и кормя собой мириады насекомых, становясь больше похожим на зверя, чем на человека, лучше не жить вообще.

Поначалу его ещё согревала надежда, что когда-нибудь этот кошмар закончится и он вернётся в Россию. Там, далеко, в Петербурге, то есть в Петрограде, осталась его невеста Люба, мать, друзья по училищу… Но вскоре Михаил понял, что ошибся – в плену выжить было почти невозможно. Австрияки ненавидели русских, и нужно было выбирать – умереть либо быстро, либо мучительно долго. У многих от голода и болезней открывались такие болезни, терпеть которые не было сил. У самого Михаила язык представлял какую-то вспухшую массу, весь потрескался и по утрам кровоточил. Несмотря на болезни, им приходилось рыть канавы на границах и внутри лагерей, проводить дороги и, заменяя лошадей, доставлять на себе брёвна, доски, камень, железо…

Мечта вернуться в Россию и зажить прежней счастливой жизнью растаяла, как пушечный дым. Михаил перестал надеяться, внутренне отрываясь ото всех, и – странное дело – когда он окончательно осознал, что в этом мире его никто и ничто больше не держит, ему стало легче.

А тут вдруг их привезли в небольшой австрийский городок, поселили в приличные бараки и стали необычайно хорошо кормить. Они с товарищами заподозрили неладное. Оказывается, их привезли для работы на заводе, выпускающим снаряды. Все как один работать отказались…

– Пли! – скомандовал австрийский офицер.

Солдаты послушно нажали курки, и раздался сухой треск. Первый товарищ упал в яму, специально выкопанную для расстрела заключённых. Наверняка он рассуждал так же, как Михаил, хотя знакомы они не были. И теперь ему, мёртвому, капитан даже позавидовал – он уже не боится, он уже не здесь…

– Айн, цвай, драй… эльф! – австрийский офицер указал на следующую жертву – на щуплого корнета.

Мише вдруг его стало жалко, небось, не больше двадцати, и не пожил совсем. Тот, как и первый, от повязки на глаза отказался и шагнул к яме. Лицо корнета, загорелое и худое, с ввалившимися щеками, ничего не выражало, только вытаращенные глаза выдавали непреодолимый страх…

Быстро ещё раз посчитав товарищей в строю, Михаил понял, что он не ошибся, и его расстреляют следующим. В груди, будто кулаком откуда-то снизу, сильно стукнуло сердце… Всё-таки страшно…

Австрияк жёстко ткнул в него пальцем – эльф!

Господи, в руце Твои предаю дух мой, – машинально прошептали сухие губы.

Михаил пошёл к яме нарочито бодрым шагом, напоминая себе ужасы плена, от которых он сейчас убежит или улетит?.. От такой детской мысли губы невольно растянулись в усмешку, и неподалёку стоявший австрийский сапёр с лопатой в руке, взглянув на него, замер. Его лицо показалось Михаилу смутно знакомым… Но… некогда вспоминать, не до него сейчас… Так о чём, о чём подумать? О Любе… Эх, родная, не довелось нам с тобой пожить…

– Герр офицер, герр офицер! – сапёр в чине унтерофицера, оглядываясь на Столетова, подбежал к офицеру и что-то быстро залопотал по-немецки. – Это он, он!..

Офицер задумался и, воспользовавшись паузой, сапёр бросился к Михаилу.

– Поручик, поручик, – на смешанном польском и русском закричал он, хватая Михаила за плечи, – вы помнить меня? Пане офицер, вы же Столетов?

– Нет, вы ошиблись, я не поручик, – капитан раздражённо сбросил его грязные руки с плеч, его охватила досада, что из-за глупой встречи снова придётся пройти страх перед смертью, – я и не Столетов.

– Это неправда. Помните, я просил пана офицера отпустить из плена блызенько домой на Рождество? Помните, пане? Это он, герр офицер, – снова по-немецки продолжил лопотать неугомонный сапёр, – он отпустил меня из плена домой, к мати, хата рядом была, а ридна мати так стара, – по-польски плаксиво закончил он.

Михаил его вспомнил. Как-то в Галиции их отряд пленил перед самым Сочельником сонных австрияк, которые не ожидали нападения и спокойно разместились на ночлег в деревенской избе. Вернувшись в свою часть, Михаил уже собрался спать, как пришёл начальник охраны и доложил, что пленный фельдфебель просится о чём-то переговорить. Это и был нынешний сапёр.

– Отпустите меня до дому, пане, – вдруг брякнул тот, когда охранник вышел.

– До дому? – не поверил своим ушам Михаил.

– Да, тут блызенько хата моя, а в ей ридна маты, так стара, что не дождётся меня, – пленный всхлипнул, – а завтра Риздво…

– Риздво? Рождество, что ли?

– Так, так! Рождество…

Пленный вдруг упал на колени.

– Войдите в положение…

Он божился и клялся, что вернётся к утру. Михаил поверил, но до рассвета ни на минуту не сомкнул глаз: обманет или нет? Фельдфебель с утра вернулся…

Как уж он освободился из плена, Михаил не знал, а теперь удивлялся их встрече, но не верил, что австрийский офицер смилуется над ним из-за поляка, да и не хотелось, чтобы вместо него расстреляли кого-нибудь другого…

– Так вы Сто-ле-тов или нет? – властно спросил австрийский офицер, подходя ближе.

– Нет, – рявкнул Михаил, поморщась от боли во рту, – делайте своё дело и оставьте меня в покое! – по-немецки закончил он, выучив ещё в гимназии этот язык на отлично.

Но сапёр всё докучал офицеру.

– Да врёт он, герр офицер, он точно сумасшедший! Вы же не будете больного головой расстреливать…

На счастье или на беду пленных, к месту казни подъехала машина, из которой вылез какой-то важный чин. Австрияк побежал, вероятно, с докладом, а пленные, напряжённо следившие за всей этой непонятной сценой, неожиданно ощутили, что сегодня больше никто не погибнет. И, действительно, солдатам был дан приказ вести их обратно в лагерь.

Коленки вдруг задрожали ни с того ни с сего, и Миша снова усмехнулся, подумав о слабости человеческой плоти. Рад он был или нет, что остался жив? А может, Бог передумал его забирать? Тогда для чего ему жизнь оставлена?

Кашляя и еле волоча ноги, брели они в лагерь. Избегнув смерти, все невольно повеселели.

– Михаил Васильевич, – позвал высокий штабс-капитан, – ты никак в рубашке родился… И чего этот поляк за тебя заступиться решил? Ты ему кто?

– Никто, Андрей Львович, – глухо ответил Столетов, – обознался он, наверное…

– Ну-ну…

– Господа, а что мы дальше-то будем делать? – спросил поручик, такой же молоденький, как тот, которого расстреляли, – дальше бастовать или… как?

– Поручик, – внушительно ответил штабс-капитан, – наши товарищи просто так, что ли, погибли? Стоим на том, что на заводе, где делают снаряды для австрияк, работать не будем. Согласны, господа?

Все устало закивали.

– Двум смертям не бывать… – вздохнул кто-то из толпы.

Но Михаил после сегодняшнего едва не случившегося расстрела уже сомневался в этом.

Как ни странно, поляк не оставил и дальше его своим назойливым попечением. На следующий день пришёл врач и стал допытываться, как его зовут? Столетову стал понятен замысел его защитника, и он прекрасно сыграл контуженного, который забыл и своё имя, и время, и даже язык, разговаривая с врачом как истинный немец.

Таким образом из лагеря для русских военнопленных неожиданно для себя он попал в госпиталь для контуженных союзничков, расположенный в небольшом австрийском городке.

– Прощевайте, пане, – пожал ему руку благодарный поляк, – вот мы с вами и квиты.

– Не понимаю, о чём вы, – улыбнулся Столетов, – но… спасибо всё равно.

В его душе созрел прекрасный план побега. Леса Галиции, окружавшие лагерь, своей густотой вселяли надежду, что в них можно скрыться от любой погони. Миша хорошо знал их по прошлым боям.

– Ну, что же, – прошептал он, оглядывая лагерь, – я здесь не задержусь.

Их привезли на вид в такой же лагерь, однако бараки были сделаны гораздо основательней, и в холодные осенние дни и ночи так не сквозило из каждой щели. Тяжёлой работой пленных не загружали, а многие, сославшись на раны, вообще сидели в бараках возле железной печурки, и австрияки, на удивление, смотрели на это сквозь пальцы. О том, что это лагерь для военнопленных, а не обычная казарма, напоминал лишь пост австрийского солдата на вышке да обязательные поверки утром и вечером.

Сначала Михаил отмалчивался и присматривался к лагерю и его окрестностям. Мысль о побеге не оставляла его. Вокруг были густые леса Галиции, и затеряться в них было не сложно. От улучшенного питания он стал быстро поправляться, а потом вдруг спохватился и решил собирать под тоненький матрас сухари.

Наконец, молчаливый русский, невесть как попавший в этот лагерь, стал вызывать любопытство, особенно у французов. Но Михаил, чтобы не отвечать на бесконечные вопросы, просто показал распухший язык, и от него на какое-то время отстали. Из-за жуткого вида распухшего и кровоточащего языка врач освободил его от работы. Но сидеть без книг и в полном одиночестве стало скучно, и Михаил с удовольствием согласился поиграть в шахматы с полным англичанином, примерно его возраста, умудрившимся где-то достать доску с фигурами. Правда, некоторые из фигурок были искусно сделаны из хлебного мякиша, что невольно вызывало горечь, стоило Михаилу подумать о несчастных товарищах, которых кормят и сейчас, небось, хуже свиней.

Первое время они играли молча. Силы Столетова и англичанина были примерно равны. Однако Михаил часто увлекался обдумыванием не очередного хода, а будущего побега, и в таких случаях глупо подставлялся. Но вскоре он втянулся в игру и в азарте даже стал комментировать свои ходы себе под нос. То ли питание, то ли элементарные полоскания горьковатым раствором сделали своё дело – язык перестал кровоточить, и Михаил с удовольствием ощущал его нормальное состояние.

– Вам легче? – однажды прервал молчание англичанин.

Он уже понял, что его соперник не говорит по-английски, поэтому спросил на немецком.

Михаил от неожиданности вздрогнул.

– Д-да, легче.

– О, это отличная новость, – вальяжно откинулся было англичанин, но, вспомнив, что он сидит не в кресле у камина, а на дощатой скамье в лазарете для военнопленных, облокотился на стол, расставив локти. – Давайте познакомимся. Я Джеймс, а вы… Майкл… Окей… Я давно хотел с вами поговорить, Майкл.

– Вот как? – холодно заметил Михаил, – и о чём же?

– Ну, во-первых, как вы попали в этот лагерь? Ведь русских сюда не берут.

Подумав немного, Михаил рассказал ему про поляка и его протекцию.

– Вы говорите, что отпустили его домой?

Англичанин забыл про игру. От удивления с него слетела вся важность. Он наклонился почти к самому лицу Михаила и каким-то сдавленным голосом повторил:

– Как можно верить врагу?

Что отвечать? Михаил пожал плечами.

– Да, он враг, но… мы же люди всё-таки. У него умирала или болела… я уж не помню… старенькая мать. Тем более, в этой же деревне. Поэтому я и отпустил.

Джеймс покачал головой.

– Глупо так рассуждать.

– Вот как! – Столетова разозлил назидательный тон, – а по-моему, очень даже умно, если мне этот поступок сохранил жизнь. Видимо, поляк тоже так рассуждал.

– Это потому что он тоже славянин. Вы, славяне, все такие…

– Какие? – набычился Михаил.

Джеймс поднял свой конопатый нос к потолку и щёлкнул пальцами, ища подходящее слово.

– Ну-у… я думаю, слишком сентиментальные. Вы чувства ставите выше порядка… Постойте, не возражайте, дослушайте меня… Вас не удивляет, что русских военнопленных держат в лагере как рабов, а нас, европейцев, боятся не то что бить, но даже пальцем тронуть?

– И как же вы это объясните? – мрачно спросил Михаил, – тем, что мы славяне?

– Да нет, – отмахнулся англичанин, – тем, что вы слишком добрые.

– Вот это новость…

– Да-да, вы не мстите за своих. Ведь если наше правительство узнает, что с нами плохо обращаются в австрийских лагерях, то тут же… – он поднял палец, – немедленно последует реакция! И австриякам в наших лагерях не поздоровится ещё больше. А вы что? Я слышал, что носитесь с ними, как… – он снова щёлкнул пальцами и вдруг произнёс по-русски: – как с писаной торбой. Правильно я сказал?

Михаил задумался. Въедливый англичанин сказал во всех отношениях правильно. Вспомнилась поездка к месту сбора в Нижний Новгород. Во время долгих стоянок на больших станциях встречались поезда с военнопленными австрийцами. Станционные буфеты были до того забиты ими, что для русских офицеров не находилось ни свободного места, ни тарелки щей. Даже на платформах пленные с невероятной жадностью скупали у баб и подростков, стоявших вдоль поездов, жареные куры и бисквитные торты. На вопрос Михаила: откуда тут торты? От толстой бабы он получил ответ, что австрияки, мол, не любят чёрный хлеб, поэтому для них уж специально расстарались – напекли бисквиты. Только чёрный хлеб и доставался русским…

На душе стало тоскливо. Здесь, в Европе, всё было не так. Не те отношения, не те разговоры, не те люди. Не было рядом друзей, однокашников и однополчан, не было матери, не было Любы. С новой возродившейся теплотой вспоминалась любимая…. Как ей подходило это имя! Во всех её жестах, взглядах сквозила нежность, и хотя он был её старше, от Любы всегда веяло заботливым материнством, от которого было тепло на душе.

Как она ринулась провожать его до места сборов! Он не ожидал, но отговаривать не стал. В те несколько дней, что они провели в поезде, Люба перезнакомилась с его попутчиками, и

ему показалось, что все поголовно в неё влюбились: офицеры трогательно ухаживали за ней, много рассказывали о своих домашних и даже невероятно вежливо обходились с денщиками. Под конец поездки Михаил уже начал ревновать, но Люба была невиновна ни в чём – со всеми она держалась как сестра, – просто Михаилу было жаль расставаться… Когда Люба пересела во встречный санитарный поезд, он впервые понял, что война началась всерьёз.

Домой, домой, в Россию… Нужно бежать. Но как? Зима здесь хоть и не такая холодная, всё же зима, и в лесу, и, тем более, в горах можно замёрзнуть насмерть. Однако соблазн был велик. Новые пленные рассказывали о наступлении русской армии, о продвижении по территории Австро-Венгрии русской армии графа Келлера. Вот бы к ним попасть, – мечтал Михаил. Он стал приглядываться к возможным попутчикам, но никто, казалось, не тяготился жизнью в плену. Для европейцев – это было лучше, чем верная смерть в окопе. А ему нужно было рискнуть, пока из-за русского наступления австрияки не переправили лагеря ещё дальше от России.

Глава 9

Опасения о переводе лагеря вглубь страны подтверждались скрытной суетой среди охраны. Михаил видел, как в машины загружались документы, кто-то уезжал и не возвращался, реже стали завозить продукты и кормить стали хуже.

Михаил озаботился своим физическим состоянием и решил делать гимнастические упражнения почаще, чтобы хоть чуть-чуть обрести выносливость, необходимую для побега. Над ним сначала потешались другие пленные, но потом привыкли и перестали обращать внимания.

Лишь двое итальянцев, двое братьев – Лоренцо и Франческо, пытались подражать ему, но вскоре уставали и тогда просто садились неподалёку, что-то обсуждая на своём тарабарском языке с немыслимой скоростью и постоянно размахивая руками.

Оказалось, что подражали они Михаилу не просто так. И как-то вечером один из них, тот, что постарше, Лоренцо, с кучерявой чёрной бородой, задержал Столетова после поверки на улице и спросил на ломаном немецком языке:

– Вы есть бежать?

Михаил отшатнулся, вглядываясь в карие глаза собеседника.

– С чего вы взяли?

– Я видел мешок… сухари…

– И что? – с вызовом спросил Столетов, – побежишь сдавать?

– Но, сеньор, – на итальянском залопотал тот, но остановился и снова перешёл на немецкий, – мы хотим тоже… с тобой бежать.

– А зачем вам я?

– Русская армия… вы подтвердить, что мы не шпион…

Михаил раздумывал.

– Хорошо. У вас есть продукты? И ещё – куда бежать? Путь…

Итальянец снова зажестикулировал и зловещим шёпотом, всё время озираясь на охрану, продолжил, с трудом подбирая слова:

– Мы знаем дорогу, деревни… Наша армия там шла…

– Согласен, побежим вместе. Назначим день?

– Через неделю будет смена охраны, хаос, бардак… – итальянцу это, видимо, напомнило его Родину, и он разулыбался, – тогда ночью бежим.

На том и порешили.

Всю неделю Михаил как проклятый занимался упражнениями и попутно выменивал на паёк нужные вещи: то вторую пару носков, то куртку потеплее, то шапку с подобием ушей. Ему уже было всё равно, что его намерения могли понять и другие пленные, а может, даже и охрана. День побега неумолимо приближался.

В декабре здесь совсем не было снега. Днём доходило до десяти градусов, словно весной в России, но ночью могло опуститься до нуля. Схожим было то, что дни были короткие, а ночи тёмные и длинные – то, что нужно для побега.

В назначенный день, после вечерней поверки, выбравшись из барака поодиночке, они через заранее подрезанную колючую проволоку проползли по склизской земле в сторону темнеющего леса, и, пригибаясь от шныряющего туда-сюда фонаря, побежали. Лес и манил своей спасительной густотой, и пугал. Найдут ли они дорогу или будут ходить кругами? Михаил поглядывал на небо, чтобы сориентироваться хоть по звёздам, но тучи безнадёжно закрывали их от беглецов…

Итальянцы, словно гончие, ни на какое небо не смотрели. Михаил даже подивился, как они уверенно перебираются через валежник, не запутываясь в нём, как он – всеми карманами

сразу. Шли всю ночь, и лишь под утро вышли к небольшой деревушке. Увы, но почти все дома в ней были либо сожжены, либо разбомблены. Им удалось найти более-менее целый дом, где от бомбы пострадала только крыша. Повалившись на пол, итальянцы сразу уснули, а Михаил ещё долго смотрел на проклюнувшиеся наконец сквозь тучи звёздочки и всё думал, для чего же Бог оставил ему жизнь? Он поверил в свою счастливую звезду и теперь, глядя на звёздное небо, пытался найти её. Может, это Люба молится за него?

О, как бы он хотел, чтобы это было правдой.

Любочка, прости, что я мало говорил тебе, как я люблю тебя, прости, что я такой грубый и косноязычный. Думаю много, а говорить стесняюсь. Если мы снова встретимся, я обязательно стану другим… Но сейчас… да, сейчас я уже стал другим.

Когда-то на его лице рос нежный юношеский пушок. Потом, в положенное время, выросла и борода, но внутри он оставался всё тем же наивным юнцом. Теперь же у него появилось ощущение, что пушок срезали вместе с кожей, а на окровавленную плоть наросла плотная корка только не на лице, а в душе.

Его рыцарские идеалы по отношению к врагу и, тем более, к пленным развеялись, как розовые иллюзии. Их место заняло крайнее ожесточение. Он снова вспомнил встреченных пленных австрийцев на станции в русской глубинке, и подумал, что тогда ни ему, ни его товарищам и в голову не пришло попросить австрийцев очистить место в буфете. Русские пленных жалели.

И в этом, оказывается, наша слабость, – вспомнил Михаил англичанина.

Он прав, он прав… Русский человек жесток тогда, когда срывается. Жестоким быть как-то неприлично. У немцев всё иначе… Не все, конечно, жестоки, – допускал Столетов, – но то, что он увидел в плену, говорило об обратном: от их “разумного прагматизма и принципиальности” волосы становились дыбом.

От горьких воспоминаний скрипнули зубы – сейчас бы он выгнал этих наглых австрияк взашей, а если бы кто-нибудь стал артачиться, то задушил бы голыми руками. Врагу нужно отвечать тем же, чтобы впредь неповадно было.

Сильный храп товарищей не давал уснуть. Михаил сел и оглядел бедное жилище. Привычной печки не было, только маленькая печурка в углу, в которой, наверное, выпекают лепёшки или что там у румынов… Интересно, их хватились или нет? Наверняка хватились, но пойдут ли искать? Вот для чего его Бог оставил в живых – вдруг пришла ясная мысль, – чтобы отомстить врагу за погибших товарищей. И он отомстит, только бы добраться до армии графа Келлера, если он и вправду здесь близко, как утверждают итальянцы.

О знаменитом немце, служившим русскому царю уже не в первом поколении, ходили разные слухи. Кто-то считал его не очень умелым полководцем, но чаще говорили наоборот – как об удачливом и талантливом командире. Ещё в первые дни войны в июньском выпуске “Нового времени” военные корреспонденты писали о том, что пятнадцатилетние или даже тринадцатилетние мальчишки из вполне благополучных семей удирали на фронт, приставая к военным эшелонам, прячась в сене для лошадей, лишь бы доехать до знаменитой армии Келлера и стать героями. Примет ли его граф? Они были даже немного знакомы, граф пару раз заходил к его отцу, с которым они воевали в последнюю Турецкую войну. Но… вот незадача – Келлер презирал тех, кто сдавался в плен. Михаил вздохнул. Как оправдаться перед графом? Достойно проявить себя в будущих сражениях.

Приняв такое простое решение, он наконец заснул.

Итальяшки раздражали суетой и спорами. В свои разговоры Михаила они почти не включали, и лишь иногда Лоренцо объяснял, куда они всё-таки решали идти.

– Риски, риски! – только и повторял младший Франческо, косясь на Михаила, как испуганный голубь.

Итальянское слово было похоже и на немецкое, и на русское “риск”. Ясно дело – трусил младший, не хотел снова на войне оказаться.

Теперь деревеньки чаще попадались не разорёнными. Румынские крестьяне смотрели настороженно, но иногда подавали сыру или молока. Пару раз беглецам разрешали ночевать в сарае с сеном, и это почиталось за счастье, потому что в лесу было уже совсем холодно. Выпал снег, и спать можно было только по очереди, поддерживая небольшой костёр из полусырого валежника.

Михаилу всё больше не нравились внимательные взгляды Франческо на мешок с сухарями, поэтому, когда он ложился спать, то мешок всегда клал под голову.

За неделю блужданий у всех троих истрепались и без того худые ботинки. Голые ветви деревьев, словно крючья, изорвали одежду. Однажды, заглянув в прозрачную воду ручья, Михаил отшатнулся от своего вида: он был похож не на русского офицера, а на старика-лесовика, не хватало только палки… А что… это мысль. Поискав глазами, Столетов нашёл подходящую палку, похожую на клюку, правда, тяжеловатую, но идти с ней стало значительно легче. Итальянцы, удивившись и по привычке поспоря друг с другом, подобрали себе нечто похожее, и вскоре их маленький отряд стал двигаться немного быстрее в сторону, где всё явственнее слышались выстрелы из далёких пушек.

В очередной привал, у подножия какого-то холма, спрятавшись от пронизывающего ветра под поваленным деревом, они заночевали. Первым должен был дежурить Лоренцо, потом Франческо, а под утро Михаил.

Чуть-чуть обогрев у костра закоченевшие руки, они сдвинули его в сторону и бросили куртки на тёплые угли – только так можно было не замёрзнуть насмерть. В середине ночи нужно было проделать то же самое… Но Михаила почему-то никто не разбудил…

Он проснулся, потому что страшно заломило руки и ноги. Каждое движение вызывало боль. Открыв глаза, Столетов увидел серый рассвет сквозь чернеющие ветви и прислушался – было тихо, как в гробу. Ни дыхания товарищей, ни треска горевших веток, ничего… В ухо почему-то врезалась шишка… Стоп, а где мешок с сухарями?

Михаил резко сел – ни костра, ни мешка с сухарями, ни итальянцев. Ещё несколько мгновений он тупо смотрел на чёрные угли, уже запорошенные инеем, а потом вдруг тихо рассмеялся… Какой идиот… Нашёл, кому довериться… Его не покидало ощущение, что это конец. Теперь можно даже не вставать – просто лечь и уснуть навсегда.

Бог, зачем Ты меня спас от расстрела? – вдруг крикнул Михаил в серое небо, – зачем? Это что – шутка такая, чтобы я побольше помучился? Тогда у Тебя получилось – видишь, мне смешно…

Он смеялся всё громче и громче, как сумасшедший, приговаривая сквозь слёзы отчаяния и безумный смех:

– Так мне и надо… Идиот… Поверил в дружбу с этими… Дурак…

– Эй, ты, слышь? Кто такой? Русский никак? – вдруг раздалась знакомая речь.

Столетов, ещё не веря, что это ему не кажется, повернул голову и увидел пеших казаков. Наставив на него винтовки, они ждали ответа. Но Михаил не спешил отвечать, опешив от счастья.

– Чего молчишь да хохочешь? – строго спросил второй, – нешто сумасшедший?

И свои за ненормального приняли, как австрияки… От этого дурацкого совпадения снова стало смешно. Успокоиться было невозможно, и Михаил, повалившись на бок, захохотал ещё сильнее.

Глава 10

Приближалось Рождество. По установившейся традиции коридор больницы украсили гирляндами, а в холле поставили большую ёлку, срезанную конюхом Степаном. Поздно вечером, накануне сочельника, он сгрузил во дворе с саней пушистое на вид дерево. Вблизи оказалось, что не такое уж оно и пушистое – через редкие ветви проглядывал ствол.

– Какое уж было, – развёл руками Степан на замечание Маривчук, – здесь вам не Тверская область, чтобы выбирать. И такое-то с трудом нашёл, – ещё долго ворчал он, затаскивая ель в большой холл, – чего нос-то воротить…

Проплешины ели сёстры закрыли дождиком и конфетти, потом осторожно достали из запылившейся коробки хрупкие стеклянные шары и Рождественскую звезду. Ходячие раненые не оставили без внимания обряд украшения лесной красавицы и помогали советами симпатичным санитаркам, присев напротив на длинную скамью:

– Выше, выше бери, сестрёнка… ага, сюды давай вешай…

– Куда советуешь? Не видишь, там дыра? – спорил другой.

– В ту дыру нужно… энтого… дождика побольше, – посоветовал молоденький солдатик, присоединившись к весёлой компании.

– Какой тебе дождь зимой? Снег нужон! – ухмыльнулся пожилой раненый, доставая из накинутой шинели самокрутку и с наслаждением затягиваясь присланным из дома душистым табачком, – сходи во двор набери.

– Да иди ты… снег… он же расстает, – озаботился солдат.

– Не слушай его, Ермолай, – подошла санитарочка, – правильно говоришь, дождиком завесим дырку между ветками…

Люба не участвовала в этих приготовлениях. Ей хватало предпраздничных хлопот и дома. Правда, если бы не соседка, Надежда Григорьевна, то не то что мяса, но и хлеба она бы не достала. Нужно было выстаивать длинные очереди, а ни сил, ни времени на это не было. А тут ещё постоянные ссоры с Шуркой испортили ей и так грустное настроение после отъезда Егора. Как обмолвилась Ольга Александровна, в станицу нужно было отвезти все документы окружному атаману, да и денежное довольствие получить. Вот и уехал…

У Ольги Александровны, вопреки всем невзгодам, настроение было самое радужное – царственный брат всё-таки прислал ей разрешение на развод.

– Мы собираемся обвенчаться после Рождества, – сияя глазами, тихо объявила ей Великая княгиня, когда они остались одни в ординаторской, – будете моей свидетельницей, Любочка?

– Почту за честь, – как можно веселее постаралась ответить Люба, – а со стороны Николая Александровича кто будет свидетелем?

– Есаул Егор Семёнович обещал.

У Любы ёкнуло сердце.

– Значит, он вернётся?

– Да, наш есаул говорит, в станице сидеть не хочет, а здесь ему мой “Кукушкин” обещал место при штабе в Бердичеве. Воевать-то он уже не сможет, сами знаете – рука плохо слушается после ранения.

Чтобы не выдать своё волнение, Любе пришлось отвернуться. Однако, на первый взгляд, радостная новость о возвращении Егора в Киев, заставила её призадуматься. Ради кого или чего всё-таки Егор вернётся сюда? Раненые солдатики поговаривали про его роман с Маривчук…

А тут ещё и брат заныл, что Егор Семёнович перестал приходить на конюшню.

– Люба, скажи ему, пока он не уехал, пусть ещё поучит меня, – теребил он её, – или давай я сам покатаюсь. Меня дядька Степан не выгонит.

– Нет, Саша, одного я тебя не пущу, ты ещё маленький…

– Тогда я из дома убегу, – вспыхнул он, выскакивая из-за стола в больничной столовой, – на фронт! Увидишь, какой я маленький!

Когда Егор уехал, Люба за работой да предпраздничными хлопотами забыла про Шуркину угрозу, пока однажды вечером, вернувшись домой, она не застала ни отца, ни брата.

– Надежда Григорьевна, – постучалась она к соседке, – а вы не знаете, где мои?

– Таки знаю, Любочка, – выплыла из своей комнаты та, – ой, что тут было, что было! Матвей Львович только сел за супчик… я сегодня такой бульончик сварила… с потрошками, с галушками, – она закатила было глаза, но осеклась, взглянув на напряжённую Любу, – да… сел обедать, а туточки письмо лежит…

– Какое письмо? – просипела Люба – от волнения у неё сел голос.

– Так это… на тетрадке школьной… Шурочка ваш написал, мол, убегаю на фронт. Да вы сами прочтите! Здесь где-то лежит его записочка.

Люба поискала глазами письмо и увидела смятый листок на краю обеденного стола. Детским почерком, с ошибками, брат сообщил, что *"больше не может так скучно жить, ездить верхом он уже умеет, поэтому искать его не нужно"*.

– На вокзал, срочно, – прошептала Люба и бросилась одеваться.

Но стоило ей надеть сапоги, как в дверях заскрежетал ключ.

Первое, что увидела Люба в полутёмном коридоре – упрямые и злые глаза брата, который неохотно переступил порог. Следом зашёл отец и сел прямо в коридоре на шаткий табурет.

– Принимай беглеца, Люба, – устало произнёс он, – хорошо, что успел до отправления поезда. Нашего вояку еле в сене нашли в вагоне для фуража. Хорошо, казачки помогли отыскать.

– Им не впервой, видимо, – пробормотала она, осматривая брата.

У того ноги были мокрыми до колен.

– Шу… Сашенька, а почему ты такой мокрый?

– Возле вокзала пруд замёрзший. Я думал, пройду, но провалился, – угрюмой ответил тот.

– Давай скорее раздевайся, а я тебе горячую воду приготовлю, ноги попаришь.

– Ещё чего…

– Не возражай! – повысил голос отец, – помрёшь от воспаления лёгких, тогда уж точно на фронт не попадёшь.

Но горячая вода не помогла – ночью у Шурки поднялась температура.

Так и прошло Рождество – возле кровати мечущегося от жара Сашки. С работы отец её отпустил, и на венчание к Ольге Александровне Люба не попала, да и Егор, оказывается, не приехал…

Глядя на милое, родное и в болезни такое неупрямое, детское личико Сашеньки, она глотала и вытирала слёзы, едва успевая менять платки.

В квартире было тихо-тихо, лишь за стенкой раздавалось громкое сопение Надежды Григорьевны, спящей сладким сном. Саша о чём-то шептал в бреду, порывался встать, но Люба ласками и уговорами укладывала его обратно. Руки привычно определяли температуру, меняли повязки, гладили пылающий лобик, а слёзы всё текли и текли…

– Господи, как мне плохо… Ты видишь, я не умею, не справляюсь… Господи, научи, помоги! Матерь Божия, не забирай у меня Шурочку, прошу Тебя! – уже почти в голос разрыдалась она и рухнула рядом с кроватью на колени, обращаясь к иконе Божьей Матери.

Поплакав вволю, ей стало легче. Люба снова села на кровать к Шуре и задумалась. После слёз отчаяния в её душе поселилась уверенность, что и жизнь Саши, и её в руках Божиих. Но она малодушно боялась, что крест, уготованный ей Богом, слишком велик и тяжёл для неё.

Отец не показывал виду, что встревожен болезнью Саши, но Люба видела, что в душе он опасается плохого конца. К счастью, Шурка стал поправляться. И чем лучше он начинал себя чувствовать, тем явственнее на его лице отпечатывалось упрямо-капризное настроение. Любу это сначала смешило, но вскоре она едва могла скрыть в разговоре с ним своё раздражение.

– Люба, ты чего такая кислая, всё же хорошо, – спросил за ужином отец, когда Саша заснул почти здоровым сном, – ты чем-то встревожена?

– Да… Я не справляюсь с ним, понимаешь, папа? Ты… так отдалился, работаешь себе спокойно, а на меня взвалил Шуркино воспитание, – дрожащим голосом от обиды на весь мир начала Люба, – но ведь я ему не отец и не мать. У меня нет авторитета. Как только не по его, Шурка сразу набычится и делает по-своему. Правильно или нет – его не волнует, главное, чтобы было по его.

Отец смотрел перед собой и молчал. Наконец, он мягко улыбнулся.

– Ну, это нормально для будущего мужчины. Он и должен поступать по своему разумению, иначе… попадёт под женский каблук, – отец подмигнул Любе, но та не приняла его шутки.

– Но он же ещё не знает, как правильно поступить… Я считаю, что Шурка должен извиниться и перед тобой, и передо мной за свой побег. Но он этого делать точно не будет… маленький упрямец.

– Подожди, Люба, – перебил её отец, – вот ты заладила: правильно, неправильно… А что, если посмотреть на ситуацию – интересно, неинтересно… Ведь он же ребёнок. Попробуй его чем-нибудь заинтересовать.

Люба переваривала услышанное.

– Ну… не знаю, попробую.

Она снова вышла на дежурства в больницу и в первую же смену, после вечернего обхода, побежала в конюшню.

– Степан, Степан! – крикнула она в темноту, пахнущую сеном и лошадиным потом.

– Слухаю, барышня, – вышел из ближайшего стойла конюх, – чего хотели?

– Степан, у меня к вам просьба, – замялась Люба, – вы не могли бы покатать моего Сашку, пока… Егора Семёновича нет? А то он… очень скучает по лошадям.

– Отчего же не покатать? Покатаю. Да он и сам отлично ездит.

– Знаю, но… я не могу, чтобы он катался один. Вы посмотрите за ним?

– Конечно, Любовь Матвеевна, – кивнул конюх, похлопывая по морде любопытного коня, высунувшегося из стойла, – ишь, любопытный красавчик… Ну, не балуй…

– У вас прибавление? Откуда? – удивилась Люба, разглядев молодого жеребца.

Конюх ухмыльнулся, смешно сморщив толстый нос.

– Дак… это… вроде как подарок есаулу от нашей заведующей.

– Что? – не поверила своим ушам Люба, – подарок Егору Семёновичу от Маривчук?

– Точно так… Его благородие искал себе коняку, а Маривчук обещала прикупить. Вот и купила давеча на рынке. Хорош конь-то, как раз для есаула, хоть и строптив, но его благородие умеет с лошадками управляться, дар у него…

– Маривчук сама купила? – не веря своим ушам, спросила Люба.

– Да нет, я, конечно, купил, но деньги докторша дала. Говорит, мол, подарок ему на день рождения. А вы чего же расстроились, Любовь Матвевна?

В открытую дверь конюшни ворвался ветер вместе со снежинками – наконец-то началась настоящая зима. Люба запахнула воротник душегреи и выдавила, не глядя на конюха:

– Вам показалось, Степан Спиридонович… Я не расстроилась, – прошептала она.

Выйдя на улицу, Люба остановилась. Боль в груди не давала вздохнуть. Едва переставляя ноги, она медленно побрела прочь от госпиталя, и безутешные, горькие слёзы застывали на её щеках маленькими льдинками.

Глава 11

Когда Егор сошёл с поезда, совсем стемнело. К счастью, возле вокзала толпились хохлы-извозчики.

– Куды требуется, вашблагородь?

– В Глазуновскую станицу давай.

– Запросто, пять рублёв пожалте…

Всякий раз, когда Егор въезжал в родную станицу, его охватывала вязкая тишина. Будто и нет войны – не стреляют пушки, не погибают казачки-товарищи… Тишина спящей станицы властно захватывала всё нутро Егора, как будто он погружался в глубокие, мягкие воды родного Дона. Правда, сейчас холодный ветер с голой степи холодил шею и лицо, но Егор не замечал ничего. Он ехал и размышлял, сможет ли жить, как задумал? А задумал он не возвращаться к привычной жизни. Отец после военной службы, словно русский помещик, торговал дёгтем и держал лавку. Егор так не хотел. Ему по душе была военная служба. И хоть рука действовала ещё плохо, но Любин отец, Матвей Ильич, обнадёжил – если разминать, то сила вернётся.

Шуршанье колёс и потряхиванье пролётки укачивало почище поезда, но глаза закрывать не хотелось – в безмолвном небе морозного воздуха особенно ярко и ласково подмигивали мелкие и крупные звёзды.

Отец, к счастью, оказался дома, а не у любовницы, и, когда подъехала пролётка, сам вышел встречать Егора. Его высокая фигура ждала у крыльца.

– Я как чувствовал, что сегодня приедешь, – обняв Егора, он отодвинулся и пристально посмотрел на раненую руку, которую пришлось ещё подвязать.

– Не мог же я пропустить проводы Ромки.

– Ох, Егорушка, сынок, – выскочила из дома маленькая росточком мать заполошно, – хоть ты со мной останься… Ромочку провожа-а-аем…

– Началось, – крякнул отец, доставая любимую трубку, – пошли в дом, чего людей собирать. Завтра сами придут.

В доме Егора уже ждали братья. Фёдор, заматеревший от постоянной работы на земле, с обветренным лицом, выглядел чуть ли не старше отца. Зато Роман – юный подхорунжий – из-за восторженного блеска в глазах в ожидании новой жизни смотрелся совсем мальчишкой. Братья были похожи друг на друга – оба черноволосые и кареглазые, в отличие от Егора, который пошёл в мать голубыми глазами и пшеничными кудрями. Только Ромка вытянулся выше всех. В новеньком чекмене, с папахой в руках – Егор едва узнал брата.

– Ну, братуха, собрался, смотрю, – похлопав младшего по плечу, сел он между братьями, – не боишься воевать-то?

– Ты-то не боялся, а я что… хуже? – белозубо улыбнулся Ромка.

– Ну, справа у него точно лучше нашей, – с едва различимой завистью в голосе, обронил Фёдор, – им сейчас и после училища деньжищи отваливают.

– Да уж, велики деньжищи, – заметил отец, усаживаясь за стол, куда мать поспешно собирала ужин, – если бы не я, то и половину не купили бы на казённые-то…

В углу уже лежала гора приготовленной в дорогу справы: седло с прибором, уздечка, попона, торба. В открытом чемодане виднелись рубахи, шаровары, ещё один чекмень, перчатки… Всё это Егору было знакомо, всё пригодится на службе. Но главным был конь…

– Какого коня берёшь, Ромка? Бурана, небось?

– А то кого же? Ты-то потерял своего Ворона? – спросил он, понижая голос.

– Потерял… Дивный был конь… – тяжело вздохнул Егор, – умный, чертяка, с любого расстояния услышит, бывало, мой свист, сразу прибежит. Сколько раз мне жизнь спасал, а вот я его не спас.

У стола всхлипнула мать.

– Кончайте гутарить, – хлопнул отец по столу, – а то мать сейчас сырость разведёт… Завтра ещё наплачешься, Лиза. Садитесь есть.

Наутро по старинному обычаю к дому Левченко потянулись казаки и казачки. У плетня длинным рядом протянулись оседланные лошади. Стоя на крыльце, отец с Ромкой приглашали всех в дом. Казаки почтительно кланялись и, снявши папахи, заходили в дом.

В горнице было тесно и шумно. Гул мужских голосов перебивала жалостливая бабья песня. За столом, рядом с отцом, сидели старейшины, по скамейкам разместились родственники и соседи, а молодёжь устроилась у задней стены – места на всех не хватало.

Стол был накрыт, как на свадьбу. Но казаки есть-пить не спешили – дожидались атамана, а пока вспоминали, как сами уходили вот так же на обязательную службу. Нарядные, разодетые в лучшие кофты казачки тянули и тянули протяжную песню. Мать крепилась, как могла, но, в конце концов, не выдержала и заголосила. А бабы и поддали жару, припевая:

Вдоль по морюшку, вдоль по синему
Сера утица плывёт,
Вдоль по бережку, вдоль по крутому
Родная матушка идёт. Всё кричит она да зовёт она
Громким голосом своим:
“Ты вернись же, вернись, чадо милое,
Распростись-вернись со мной…”

Наконец пришёл и атаман, Чеботарёв Илья Никитич, невысокий, но широкоплечий, рыжебородый офицер. Его форма была новее и наряднее всех, а сапоги были вычищены так, что напоминали зеркало. Следом за ним зашёл и местный учитель, Ферапонт Петрович, с необычно для местных белым лицом. Все дружно встали.

– Здорово бывали, казаки! – глухо, но твёрдо произнёс атаман.

– Слава Богу… Здорово, ваше благородие… – те загудели в ответ.

Ферапонт, совсем тощий, чахоточного вида, держа в руках кепку, молча всем поклонился и вопросительно посмотрел на отца – куда, мол, садиться.

– Садись со мной, Ферапонт Петрович, – предложил атаман, присаживаясь на лавку, – не договорили мы с тобой.

– О чём разговор был? – спросил отец, устраиваясь с другой стороны от атамана, – нам-то расскажешь, Илья Никитич?

– Да расскажу, – усмехнулся тот, – не секрет. Однако разговор получился странный. Спорили мы давеча о том, кто какой характер имеет… Я говорю, что в русских порядка меньше, а вот учитель наш не согласен. Мы, казаки, за старину держимся, за заветы предков… Правильно, казачки?

– Точно… Держимся, вашблагородь…

Атаман удовлетворённо кивнул.

– А русские… перекати-поле. У нас уж целая “русская” улица образовалась. Вы и сами, Ферапонт Петрович, со Пскова приехали. Чего на родине-то не жилось?

– Ну, во-первых, климат мне нужен потеплее, заболел я, – учитель слегка кашлянул в кулак, – в Пскове холодно для моей груди. А во-вторых, вот вы говорите – русские мужики – перекати поле… Поверьте, казачки, русские и рады никуда не выезжать со своей земли, только земли-то для них уже стало совсем не хватать. В наших деревнях-то в каждой семье по восемь-десять детей, а урожай намного меньше, чем на юге. Вот и голодает русский мужик. Слышали, небось, про поезда Столыпина?

– Это в Сибирь которые гнали? – спросил атаман.

– Да, там земли ещё много нераспаханной… Климат тяжёлый, но куда деваться… Лето зато там жаркое, урожай хлеба хороший.

– Кто в Сибирь, а кто и к нам, на Дон, понаехал, – крикнул зажиточный казак из толпы, потрясая папахой, – теперича некоторые на нашу землю претендуют…

– Точно, с “русской” улицы одна смута, – загалдели согласно казаки, – на чужой каравай рот разевают…

– Плохо, если наши люди про меж собой землю не смогут поделить, – с грустью покачал головой учитель, – смута будет.

– Да не лезьте вы к нам со своими порядками, и не будет смуты, – стукнул по столу отец.

Егор не вмешивался в разговор, но заметил, что атаману и отцу поддакивают только старые казаки. Молодые упрямо молчали и отводили глаза. Были среди них и с “русской” улицы. Те более уважительно слушали Ферапонта.

– Вот что я вам скажу, казачки, русские люди, с их неугомонной душой, и засеяли всю Россию-матушку, и со всеми народами смогли договориться жить в мире. А казаки в Сибири, да на Кубани, да на Дону – всё те же русские, которые границы стали охранять.

– Брешешь, мы другие… – ещё возмущались казаки, но Ферапонт вдруг раскашлялся и выбежал из дома, как побеждённый.

Роман, нарядившись уже в походную форму, обносил гостей чаркой водки. Папаха на его голове, лихо сбитая набекрень, только чудом держалась на жёстких кудрях. На лице застыло напряжённое выражение молодечества и неустрашимости. Сверстники принимали чарку с шутливым поклоном, хорохорясь и зубоскаля по обычаю над будущим воякой.

Егора поглядывал на калитку через окно и всё думал, придёт ли Федот Калёный. Увидев знакомую плотную фигуру, пересекающую двор, он подивился такой наглости. Неужто забыл, как поскандалил в последний раз? Подхорунжий в этот раз был без семечек, но с таким же нагло-ухмыляющимся выражением круглого лица. О чём-то пошептавшись с Ромкой, он сел за стол рядом с пожилыми казаками, одетыми в тёплые чекменя с медалями николаевских времён, и огляделся. Бабы опять завели протяжно-унылую песню, а мать снова заплакала.

– Лизавета Никитична, что причитаете над сыном? – вдруг обратился Калёный к матери, – скоро война закончится, может, Роман и воевать-то не будет.

– Как это закончится? Неужто победа? – растерянно произнесла мать, отрывая руки от лица.

– Что ерунду опять городишь, смутьян? – нахмурился отец, – чего обнадёживаешь бабу?

– Сами посудите, ваше благородие, – нагло глядя в глаза отцу, ответил Калёный, – война уж не та, что была в первый год. Теперь уж все говорят, что войну на Россию-матушку наслали немецкие советчики императора. Тем более, что и царица у него немка, хоть и спуталась с русским мужиком… Вот пусть император сам воюет с кайзером, а простым солдатам никакой выгоды нет в этой войне, – с вызовом в голосе, словно на митинге, закончил он, взглядом призывая к себе на помощь молодых казаков, толпящихся у двери.

– То есть ты, Федот, за этих… за большевиков, что-ли? Замиряться с германцем призываешь? – спросил кто-то из пожилых казаков.

Однако урядник, прибывший недавно в отпуск, не дал ответить Калёному.

– Стойте, казачки. Видел я такое у соседних стрелков… Решили они это… как ты говоришь – замириться с австрияками. Так наш есаул тотчас казачкам повелел повернуть пулемёты, а солдатикам послал вестового, мол, даю вам пять минут сроку для возвращения в свои окопы. А если нет – открою огонь и всех перестреляю.

– И что же солдатики? – мрачно спросил Калёный.

– Бегом вернулись, – ухмыльнулся урядник.

– Но ведь прав подхорунжий, – подал из толпы реплику молодой казачок, – уж больно война затянулась. Неужто не могут правители замириться? Егор Семёнович, вы-то хоть скажите своё слово.

Казаки, стоявшие рядом с молодым, согласно загудели:

– На кой чёрт нам ихняя земля, когда и своей достаточно?..

– Командиру за сопку Егория дадут, а тебя за его Егория в эту сопку и уложат.

Егор всем сердцем ощущал, что не было в словах казаков ни трусости, ни шкурничества, а только твёрдое убеждение, что пролитой кровью мир был уже оплачен с лихвой, но он всё не наступал. Нужно было что-то сказать примиряющее…

Но вместо Егора вступил в спор старший брат. Слабым местом Фёдора было то, что он быстро хмелел, и сейчас, всего с пары чарок, его движения стали неловкими, а голос звонче обычного.

– Вроде и правы вы, казачки-товарищи, а только правда, как известна, как палка – о двух концах. Согласен, нам нужен мир, но немец мира-то не просит! – возвысил он голос, – он, гад, притаился и ждёт, чтобы русская армия, как стадо баранов, вышла бы из окопов и… шарахнулась домой! Дальше-то что будет, а, господин подхорунжий? Чего молчишь, Федот? – Калёный скривил губы и смотрел зло, но на зов не отозвался. Брат продолжал: – Немец, казачки, так двинет нам в спину, что мы и опомниться не успеем, как костьми все поляжем, а враг в наше село придёт и жёнок наших да матерей… в рабство угонит. Этого хотите? Да не будет враг на нашей земле!

Старшие казаки согласно покивали, а Ромка со сверстниками смотрели в сторону. Егор ждал, что младший брат скажет клятвенное слово, но тот молчал.

– Что, казачки, язык проглотили? – усмехнулся Егор, – хотите, случай расскажу?

Все оживились.

– Что за случай? Гутарь, Егор, с тебя всегда настроение подымается, – зашумели казаки.

– Как поутихли первые бои, стали мы на позиции. Вдруг пошёл слух, что в нашем полку завелся вор, – таинственным тоном начал Егор, – у одного кинжал пропал, у другого кошелёк… Прямо беда.

– Брешешь? Из наших казаков аль с кубанских?

– Неважно, казачки, слушайте дальше. Вычислили его. Командир пытался усовестить, но… тот продолжал красть, а потом и напарник у него появился. Уж как увещевал их командир, ничего не помогало. Вещи продолжали пропадать. Казаки уж готовы были сами воров пристрелить. Наконец, выстроил нас командир. Этих двоих отдельно поставил на всеобщее позорище. С одной стороны хорунжий знамя держал, а с другой в это время вестовой старую корову привёл, какую нашёл в ближайшей деревне – худую, страшную, грязную… Так вот… командир подал знак и вестовой корову эту прямо к воришкам подвёл. Те смотрят, усмехаются. А командир и говорит, мол, если не дадите слово, что бросите своё паскудное занятие, то в скотинью задницу носом вас ткну, а потом ославлю на все станицы, что такой-то и такой-то зад старой корове целовали. Ну как? Согласны?

– И что? Целовали? – зашумели, засмеялись казаки.

– Нет, на колени бухнулись перед знаменем, поклялись, что исправятся… Потом, говорят, погибли оба, но… слово не нарушили.

– И к чему ты нам, ваше благородие, всё это рассказываешь? – дерзко и звонко перекрикивая гвалт, спросил один из молодых казачков, сидевший рядом с Ромкой, – среди нас воров отродясь не бывало.

– А к тому, казак, – обернулся к нему Егор, – что вот такие, как Калёный, предлагают нам целовать зад германцу. Пусть сам и целует…

Грохот от смеха заполонил горницу. Федот Калёный, с покрасневшим лицом, быстро выбежал из горницы. Вслед за ним на улицу бросился старший брат Фёдор. Егор даже удивился, зачем это? Не отрываясь, он смотрел на них в окно, чуть отодвинув занавеску.

Во дворе Калёный остановился закурить. Фёдор неровной походкой догнал его и схватил за плечо. Что у них за дело? – не понимал Егор.

Ноги сами понесли на двор.

– Да ты бы за своей жёнкой следил! А дом твой и сжечь можно, – услышал издалека Егор наглый голос Калёного.

– Ещё раз покажешься в нашем доме, – взревел пьяно Фёдор, – накостыляю!

– Ну давай сейчас, попробуй!

Казаки схватили друг друга за плечи. Фёдор оказался тяжелее, но плохо стоял на ногах, и оба повалились на землю.

– Егор, чего глядишь? – крикнул с крыльца вышедший следом отец, – разними их, окаянных!

В два прыжка оказавшись возле них, Егор тяжело взмахнул кулаком и двинул наглому подхорунжему по плечу, но получилось вскользь – тот увернулся, вскочил на ноги и отошёл назад, вытирая рот от грязи и тяжело дыша.

– Ну-ка, вон из нашего дома, сучья морда! – загремел отец с крыльца.

Калёный поднял отлетевшую папаху, зло прищурился и прошипел:

– Поплачите у меня, семейка офицерская…

Брат ещё порывался ударить противника, но Егор удержал его:

– Не время, Фёдор, потом разберёшься. Ты и так хорошо его огрел… Пойдём Ромку провожать…

В доме казаки сделали вид, что не заметили драки – в другой раз и сами бы не прочь размять кости, но сегодня – не след нарушать дедовский обычай.

Все поднялись из-за стола. Отец с матерью взяли в руки старинные образа.

– Ну, сынок мой младший, Роман Семёнович, вот мой тебе наказ: служи честно, подлых людей не слушай, имя наше не позорь, а Россию-матушку грудью своей защищай…

Ромка бухнулся в ноги отцу:

– Благословите, батюшка, коня седлать.

– Бог благословит, сын, и я благословляю, – осенил его иконой отец.

Все казаки повернулись в красный угол и чинно перекрестились. Егору показалось, что это не младшего брата провожают на сборы, а его…

Пожилая казачка-запевала затянула чуть надтреснутым голосом:

Да не чаяло красно солнышко
На закате рано быть,
Да не думала родимая матушка
Своего сыночка избыть…

Вечером, вспоминая проводы брата, Егору опять почудилось, что не только его семья, но и вся казачья жизнь летит под уклон, в жуткую чёрную темень пропасти. Традиции блюли, а ни теплоты, ни понимания среди казаков уже не было. Молодые – словно сироты безземельные, рождённые чужими отцами, – смотрели на старейшин как на врагов. Последние с пренебрежением плевались на требования “пришлых мужиков” и изо всех сил сопротивлялись переменам, не желая ни отдавать, ни продавать землю.

Федот Калёный был как раз из пришлых… Каждый, кто видел, как подхорунжий скачет на своём коняке, не задумываясь, назвал бы его настоящим казаком. Но у него и таких, как он – “мужиков”, пришедших с центральной России – не было земли.

– Казаком нельзя стать, – вечером, когда все ушли, ещё гудел пьяно отец, – казаком можно только родиться. Где родился, там и пригодился. Чего на чужую землю зариться?

Егор не отвечал, на душе и без того было тошно.

– Почему так всё изменилось? – вопрошал он про себя, – можно ли прошлое вернуть?

Но ему и самому в это не верилось.

Глава 12

Вечером Люба закрывала глаза, а утром не могла открыть. Не потому, что она устала или не выспалась, а потому, что на сердце навалилась непомерная тяжесть, казалось, прижавшая к земле всё её существо. Жизнь в Киеве стала почти такой же безрадостной и страшной, от которой Люба бежала из Петрограда. Над бедной Россией разрасталась чёрная огромная туча, постепенно заполонявшая мрачным смогом город за городом. Теперь она добралась и до Киева.

Даже батюшка Никольского храма, где венчалась Ольга Александровна с Куликовским, вместо поздравления разродился пугающей проповедью, что впереди всех ждут страшные испытания. Однако Великая княгиня, став Куликовской, казалось, ничего этого не слышала. Её сияющие глаза устремлялись то к иконам, то к любимому человеку. Пожалуй, единственная в этом храме, она предвкушала не горести, а счастливую жизнь со скромным полковником.

– Вы не пожалеете, что из Великой Княгини превратились в обычную офицерскую жену? – с усмешкой спросила одна из сестёр, которая хотя и не любила княгиню, всё же пришла на торжественный обед, устроенный в госпитале в честь её венчания.

– Я настолько благодарна Всевышнему, – после паузы ответила сестра царя, смело глядя ей в глаза, – что приму своё будущее, каким бы оно не оказалось.

Может, Люба ей тогда и начала завидовать. Любовь, яркая, жертвенная, чистая – про такую пишут только в романах. Почему у неё такой нет? Ведь она тоже хочет любить и быть любимой. Увы, все её благие намерения искать и ждать Мишу улетучились, как только она узнала, что Егор вернулся в Киев. Словно в неуютном, голодном и холодном городе появилась ещё одна родная душа, к которой её тянуло неотвратимо. Однако есаула она почти не встречала. Он всё-таки устроился на службу – вдовствующая императрица-мать, жившая теперь в Киеве постоянно, нуждалась в охране – Егора определили в её эскорт.

Любу во дворец не приглашали, а Егор заезжал в госпиталь лишь на процедуры к отцу – рука у него болела до сих пор. Но было ещё одно обстоятельство, стоявшее между ними. Красивый скакун, виденный ею в конюшне. Такой подарок недвусмысленно говорил об их отношениях с Диной.

Люба мучилась от желания увидеть Егора, но боялась привязаться без надежды на взаимность. Это будет даже хуже, чем у Ольги Александровны. Нет, лучше не встречаться, – так Люба решила для себя и при появлении в больнице есаула пряталась в ординаторской.

Лишь однажды она увидела его, вернее, услышала.

В тот февральский вечер Люба дежурила. Досадуя на себя за безволие, не позволявшее бросить курить, она, прячась от отца, накинула пальтишко и перебежала через двор, за конюшню. Спрятавшись за задней стеной, она раскурила папироску и закрыла глаза, наслаждаясь крепким табачком. В конюшне послышался всхрап лошадей, учуявших человека. Там же стоял и красавиц-скакун, подарок Дины Борисовны. Странно, что Егор до сих пор не забрал его…

Кто-то открыл скрипучую госпитальную дверь и быстрым шагом направился к конюшне. Люба сжалась, ожидая, что отец всё-таки увидел её из окна своего кабинета. Замерев, она приготовилась оправдываться, но никто её не искал. С противоположной от неё стороны распахнулась дверь конюшни и… о чудо… послышался знакомый, ласково-насмешливый голос Егора:

– Ну, красавчик, давай знакомиться.

Конь мягко заржал.

– Вашблагородь, – позвал появившийся откуда-то конюх, – Егор Семёнович, заберёте коняку сегодня али нет? Ишь, как он к вам тянется… Чует будущего хозяина-то.

– Заберу, Степан, служба моя без него никак невозможна.

– Энто правильно… Говорят, царицу старшую охраняете?

– Да, приходится. Время-то нынче какое…

– Точно. Как же без охраны-то… Сенца ежели нужно будет, приходите, дам.

– За это спасибо, отец. Ну, я поехал… Тпр-ру-у…

Люба осторожно выглянула из-за угла и отпрянула – в конюшню быстрым шагом шла Маривчук. Без докторской шапочки, чёрные, как смоль, волосы Дины рассыпались по плечам, а в её глазах, невидящих никого вокруг, плескалась отчаянная решимость Марии Магдалины.

– Степан, оставьте нас, – приказала она конюху.

Шаркающие поспешные шаги последнего удалились в сторону госпиталя.

– Егор Семёнович, что за деньги вы оставили у меня на столе? – вскоре раздался глухой, с жалобными нотками, голос Маривчук.

– Дина Борисовна, это плата за жеребца. Здесь, правда, не всё, но я донесу, как получу жалованье, – спокойно ответил есаул.

– Какая плата, Егор? – с горечью спросила Дина. – Зачем ты меня обижаешь? Разве то, что было между нами… всё пустое? А, Егор? Скажи, ты бросаешь меня?

Сердце Любы нырнуло куда-то вниз. Она сжала зубы, чтобы не застонать – значит, всё-таки Егор выбрал Маривчук. От бросившейся в голову крови в ушах загудело.

– Прости, Дина, мне сейчас не до женитьбы.

– Да разве я прошу на мне жениться? – по-бабьи, жалостливо спросила Маривчук, – любви я хочу, Егорушка, любви…

– Дина, перестань, мне нужно ехать. Я спешу, извини.

– Всё-таки бросаешь? Учти, я тебе этого не прощу… А ради кого хоть? Новую девку нашёл? Неужели она красивей меня?

Конь тревожно заржал, нетерпеливо переступая ногами.

– Тише, тише, – слышно было, как Егор похлопал его по шее, – не пугай Ворона.

– Опять Ворон? Не слишком ли много воронов на твою голову? – в голосе Дины прорезалась злая обида.

– Чего мне к другому имени привыкать, всё равно путать буду.

– Егор, Егор, о чём ты говоришь? Неужели ты не скучал по мне?

Раздался какой-то шорох…

– Оставь, Дина, мне пора… Не могу я… Н-но, родимый… Прощай, не поминай лихом…

Цокот копыт звонко и даже как-то весело разлетелся по пустынному госпитальному двору. Прижавшись к стылым брёвнам конюшни, Люба проводила глазами, полными слёз, статную фигуру всадника, потом подождала, пока Маривчук зайдёт в больницу, и только тут почувствовала, как замёрзла. Руки и ноги вконец закоченели – перчаток у неё не было, а обувь так истончилась, что уже давно ощущала малейшую сырость на тротуаре.

Всё смешалось в её душе: и горькое открытие об отношениях Егора и Маривчук, и злость на себя за то, что не может справиться с пленившей её любовью к казаку, и стыд перед далёким женихом…

– Да где же ты есть-то, Миша? – вздохнула она, заходя в госпиталь, – нет, надо ехать к тётке… Пусть помолится за меня, непутёвую, да подскажет, как жить дальше.

Егор и сам сначала не понял, почему так резко порвал с Диной. Чем-то она ему напоминала казачек с родной станицы – такая же черноглазая, страстная, фигуристая, с заливистым смехом. Но после поездки домой именно это его и отвратило от неё. Из-за отца ощущение чего-то нечистого преследовало его дома, а при встрече с Диной появилось вновь.

Было в ней ещё одно качество не по душе Егору – что-то хищное и хитрое. Попадёшь такой бабе в руки, то либо себя ломать придётся, либо её. Он не хотел ни того, ни другого. На Дону даже жеребцов не объезжали, а воспитывали, как детей, прощая им и отдавленные ноги, и укусы на плечах. Зато, не сломленные, кони сохраняли и живость ума, и большую волю к жизни, которая не раз спасала казаков в бою.

Нет, для женитьбы Дина точно не годилась, а так… просто погулять… Егору вдруг перехотелось. Насмотрелся в родимом краю на гулянки отца, и отвернуло от любовных игр. Да и правду Дине он сказал – не до женитьбы сейчас. Вон что в городе творится…

Туча, зависшая над Россией, наконец разродилась – в первых числах марта газеты напечатали об отречении императора. Что тут началось… Обыватели, ещё вчера на вид спокойные, сегодня превратились в дикую толпу. У каждого второго к безумному блеску в глазах прибавился красный бант на груди, повсеместно гремели нестройные оркестры и лились, лились из каждого ведра, с каждого угла потоки лозунгов: “За землю и волю!”, “За самоопределение народов!”, “За мир без аннексий и контрибуций!” От улицы к улицы носились авто с воткнутыми красными флагами. Настроение у всех было радостное, будто и не революция, а Пасха…

Егора это удивляло. Останавливаясь иногда послушать какого-нибудь краснобая, он быстро переставал слушать и начинал всматриваться в счастливые лица господ, совсем не бедных, а чаще, в дорогой одежде, с обязательным красным бантом на груди. Неужели им не жалко той России, в которой они выросли? Неужто не видят, что разрушается всё, что они любили и чем жили много веков? Откуда у них такая беспечальная уверенность, что дальше будет всё лучше? Пока всё становилось только хуже.

После отречения императора, как по команде, перестали выплачиваться жалованья не только чиновникам, но и военным. Что делать? – было написано на лицах его казаков.

– Может, домой податься, ваше благородие? – вечером за ужином спросил немолодой урядник. – Говорят, пехота на фронтах уже и офицеров не слухает. Так и валят солдатики домой, землю делить.

– Тебе что, земли мало? – Егор знал, что он из старейших на Дону.

– Мне-то хватит, да как бы не набежало охотников её порезать, – со вздохом вытер усы казак. – Жёнка-то одна там с малыми…

– Нежто власть атамана отменили? Чай, он отречение не подписывал, – усмехнулся хорунжий.

– Да набегут… эти русские, – вскинулся урядник, – с виду они тихие, а как драться, так всем гуртом… Нет, нужно ехать домой. Поспрашай командира, как быть дальше, ваше благородие, – просяще закончил он.

– У кого же мне спрашивать? – покачал головой Егор, – если только в штаб написать…

– Во-во, напиши, Егор Семёнович, – загалдели и другие, – може, правда, отпустят по домам.

На этом и сошлись. Егор написал запрос в штаб и стал ждать.

Больше всех новым порядкам радовались заключённые, почему-то выпущенные из тюрем. Разбойнички в тюремной робе поначалу осматривались, не веря своему счастью, а увидев восторг в глазах горожан, тут же “благодарно” принялись их грабить и в темноте, и при свете дня.

Нет, Егор не боялся грабителей – шашку, хоть и в левой руке, он держал твёрдо. И однажды ему пришлось спасать жандарма от расправы бывших заключённых. Окружив беднягу, они нагло глумились над ним. В их руках поблёскивали небольшие, но хищные заточки. Обыватели с растерянными лицами стояли в сторонке и даже не пытались выручить полицмейстера.

Егор направил Ворона прямо в толпу небритых, злобных мужиков. Те шарахнулись по сторонам, но далеко не ушли.

– Куда лезешь, казак? Ехай своей дорогой! – хрипло крикнул один, с волчьими глазами, – у нас с господином хорошим свои счёты.

– Поговори у меня ещё, – пригрозил Егор, резко вынимая шашку из ножен, – но-о-о… не трожь коня, сволочь…

Умный Ворон, уже пообвыкнув к хозяину и его безмолвным командам, тут же встал на дыбы. Мужик в тюремной робе вжал голову в плечи и отпрыгнул в сторону.

– То-то же… Куда вам, полицмейстер? Я провожу…

Жандарм с готовностью схватился за стремя и махнул неопределённо рукой. Уже не молодой, с непокрытой головой – фуражку сбил кто-то из разбойников – он быстро прошёл толпу рядом с Егором, на ходу расстёгивая воротник. Седые волосы жандарма ворошил ветер, и на миг Егору показалось, что его стремя держит покойник…

– Отец, ты бы снял форму, – когда они заехали в глухой тупичок, посоветовал Егор, спрыгнув с коня, – а ещё лучше – уехать бы тебе.

Отдышавшись, жандарм пригладил волосы, почесал щёки с белыми бакенбардами и уныло ответил:

– Уехать… А жить на что? Здесь хоть жалованье платят, а больше я и делать-то ничего не умею. Что ж получается – это революция или анархия?

Егор молча пожал плечами.

– Пока всё не наладится, вероятно, анархия.

Полицмейстер застегнул мундир на все пуговицы и снова вздохнул.

– Ладно, есаул, благодарствую. Прощайте.

Вдовствующая императрица уехала в ставку, к своему отрекшемуся сыну в Могилёв, и у Егора выдались нежданные выходные. Нужно было этим воспользоваться и как следует подлечиться. Рука всё ещё болела. Днём Егор терпел, но по ночам просыпался от собственного стона.

– А что вы хотите, батенька? – добродушно рокотал Матвей Ильич, выслушав его. – Такое ранение… не каждый и жив останется… Идите на прогревание. Так… кто у нас сегодня дежурит? – заглянул он в график на стене.

– Матвей Ильич, а почему Любовь Матвеевну не видно, – застёгивая рубашку, спросил Егор, – она не уехала?

Доктор почему-то нахмурился.

– Не уехала, но собирается…

Он замолчал, уставившись на улицу, откуда через открытую форточку доносились безумные соловьиные трели.

– Весна в этом году ранняя, – пробормотал задумчиво доктор, – вишь, как поют…

– И куда же Любовь Матвеевна собирается? – не отступал Егор.

– Дочь моя неугомонная собралась в монастырь к своей тётке, моей сестре-монахине. Оказывается, её перевели в какой-то скит недалеко от Киева. Так Люба хочет ехать к ней.

Егор внезапно расстроился.

– В монастырь хочет уйти? Насовсем?

– Да нет… Люба хочет её уговорить переселиться к нам. Всё плачет, что не справляется с Шуркой… Но как я её одну отпущу? И раньше бы побоялся за город отпускать, а уж нынче тем более. Так моя настырная барышня уговорила конюха Степана и одну из сестёр поехать с ней. Я уж не знаю, что и возразить теперь.

– Да какой из Степана охранник? – возмутился Егор, – он и себя-то не сможет защитить. Матвей Ильич, а хотите, я поеду с Любовь Матвеевной? Временем я как раз сейчас располагаю.

Доктор с надеждой посмотрел на него.

– Я был бы вам очень благодарен, Егор Семёнович. Тем более, что они хотят ещё для госпиталя продуктов наменять или купить, а, сами понимаете, это сейчас самый ценный товар. Как бы не ограбили…

Глава 13

Выехать решили рано, до рассвета, когда даже разбойнички устают грабить и отправляются спать. Хотя грабить у небольшой компании пока было нечего. Ни Люба, ни Олеся, медсестра, золото-бриллианты не надели, а уж у Степана и есаула их подавно не было. Зато казак был внушительно снаряжён по части оружия.

– Степан, возьми-ка ты вот этот револьвер и спрячь поближе. Глядишь, пригодится. Не забыл ещё, как стрелять? – перед дорогой распоряжался Егор.

– Обижаете, вашблагородь, как можно? Чай, воевал тоже.

– Ну и молодец… Барышни, вы готовы? – обратился он к девушкам, стоявшим возле телеги.

– Готовы, Егор Семёнович, – весело ответила Олеся, – только не потеряйте нас по дороге.

– Такую барышню невозможно потерять, – подмигнул ей казак, запрыгивая на коня.

Люба, закутавшись в платок по самые глаза, не участвовала в их зубоскальствах. Она всё-таки простудилась в тот вечер и сейчас чувствовала невероятную слабость, уже почти жалея, что затеяла эту поездку. Степан на телегу накидал сена, и, зарывшись в него, Люба задремала. Разбудил её смех Олеси. Та с удовольствием заигрывала с казаком.

– А вы чего ж, Егор Семёнович, не женаты? Али никого по нраву не нашли?

– Знаете, Олеся Никитична, у нас говорят: женился на скору руку, да на долгу муку. Вот я и не хочу муки-то…

– Ой, так вам нужно найти того, кто поближе, чтобы получше разглядеть.

– Может, вы на себя намекаете? – усмехнулся Егор, подъезжая.

– А почему бы и нет? Я девка справная, не хуже других. Согласен, Степан? А?

– Согласен, барышня, был бы я помоложе, и сам бы посватался.

Счастливый смешок был ему ответом.

Сон окончательно слетел с глаз. Люба выпрямилась и огляделась. Они уже выехали из Киева, и сейчас ехали по пустынной дороге вдоль небольшого перелеска. Солнышко грело ласково, будто и не весна, а раннее лето. С восходом проснулись и птицы, и теперь голосили что тебе колокольные переливы. Дышалось легко, вкусно – немного пыли вперемешку с душистым запахом клейких тополиных почек. Этот запах напомнил Петроград… Вернее, Петербург её детства…

– Проснулись, Любовь Матвеевна? Как спалось? – подъехал Егор.

Любе очень хотелось улыбнуться и так же весело ответить, как Олеся, но… её намерения насчёт Егора были совсем другими. Ишь… сердцеед… Маривчук ему надоела, так он теперь новую пассию ищет, – настороженно думала Люба. Пусть ищет, только она на такую роль несогласная. Для укрепления своих намерений Люба уже несколько дней носила сапфировое колечко, подаренное Мишей. Маривчук как увидела у неё это кольцо, так и встрепенулась – впилась глазами, словно змея, но ничего не спросила. А Люба и не объясняла, пусть думает, что это Егор ей подарил…

Однако с есаулом она всё-таки не хотела сближаться…

– Спалось хорошо, спасибо, – сухо ответила она, пряча глаза.

– Что-то вы не в настроении. Может, недовольны, что отец меня с вами послал? – чуть наклонившись, спросил казак.

Люба увидела в его голубых глазах насмешку и промолчала.

– Что вы, Егор Семёнович, – встряла Олеся, улыбаясь пухлыми щёчками, – чего нам быть недовольными? С вами-то, чай, надёжнее… А на докторшу нашу не смотрите, Любовь Матвевна всегда строгая. В столице, наверное, все такие. А мы местные, девушки простые, весёлые, – снова показала она обаятельные ямочки, зазывно улыбаясь Егору.

Растеплилось так, что Люба сняла пальто, оставшись в одном сером, длинном платье, оставшимся у неё ещё с учёбы в гимназии. Так она себя сейчас и ощущала – неловкой, скучной гимназисткой, которая то ли чего-то боится, то ли стесняется… На голове у неё, как у простой крестьянки, как и у Олеси, был повязан платок. Но и в нём стало жарко, голова почему-то чесалась. Люба сняла его и принялась вытаскивать травинки.

– Ой, Любовь Матвевна, – уставилась на неё Олеся, – какая же вы беленькая, словно снегурка!

Люба не ответила, чувствуя, что краснеет. Пока Егор не оглянулся, она снова натянула платок и нахмурилась.

– Олеся, ты свои навыки повитухи не растеряла?

– Никак не можно, не растеряла. А вы думаете, пригодятся сегодня?

– Вполне возможно. В деревнях рожениц всегда хватает. Особенно, если село большое. Ваше-то большое?

– Наше нет… Вот сейчас мы подъедем, так до моего родного ещё пять вёрст, а это будет большое… Дворов четыреста.

– Ну и хорошо, – спокойно заметила Люба, радуясь, что сумела перевести щекотливый разговор со своей внешности. – От твоего села и до скита недалеко…

За поворотом показалось то самое большое село. Оттуда летел колокольный звон, словно случился великий праздник.

Вдали проехал поезд из нескольких пролёток, запряжённый тройками лошадей. Всюду – и на оглоблях, и на колясках, и на девушках виднелись цветочные венки. Задорные девичьи голоса перекрывали песнями колокольный трезвон. Поезд со свистом и смехом мчался к церкви на соседней улице.

– Во как… свадьба, – крякнул Степан и обернулся, подмигнув, – хороший знак. Не зря мы приехали.

– Ой, лишеньки, – всплеснула руками Олеся, – а ведь там из нашего села хлопцы… Постойте трошки здесь… Я скоро!

Не успела Люба возразить, как медсестры и след простыл. Степан съехал чуть в сторону от дороги и встал в тенёк, под молодой берёзкой. Егор тоже спешился и пустил коня попастись.

Но долго ждать не пришлось. Олеся вскоре выбежала из ворот того самого дома, откуда выехал свадебный поезд, и зазывно замахала руками. Когда они подъехали поближе, она возбуждённо зашептала Любе на ухо:

– Жених из нашего села – вон… видите на крыльце церквы самый красивый парень рядом с невестой?

Для Любы, не привыкшей к такой пестроте в одежде, все парни и девушки слились в один цветастый ковёр, где красивыми были все, тем более издалека.

– Так дадут нам ночлег, Олеся?

– Дадут, дадут, но не здесь, конечно, а у соседей… Поехали, Любовь Матвеевна, не сомневайтесь.

Однако Люба сомневалась, не будут ли они на свадьбе незваными гостями. Но как только они заехали во двор, из дома выбежала пожилая толстая тётка и ещё с порога закричала:

– Мать честная, дивитесь, люди добрые, какие гости к нам з Киева прибыли. Проходьте, гости дорогие… Як вас звать? Ой… а какой справный казак! У нас и для вас будет компания – побачите, скильки казаков буде на свадьбе…

– Как вас зовут, тётенька? – без стеснения спросила Олеся, когда они вошли в пока ещё пустой дом.

– Ой, я не сказала? Марьей Миколаевной кличут.

– Мария Николаевна, – машинально перевела Люба, – а в вашем селе доктор кому-нибудь нужен или нет? Мы бы полечили, а вместо платы продуктов бы взяли.

– Да як же не нужен врач? – всплеснула руками Марья, – вона дядечка у соседей спиной мается, а с другой стороны Микола с фронта пришёл, так рана дюже загноилась. А ещё… – она подняла глаза к потолку, – не помню уж у кого разродиться кто-то должен… Гришка! – зычным голосом вдруг крикнула она в окно, – ты где шляешься, бисов сын? Подь сюды!

В дом быстро вбежал белобрысый мальчишка, лет десяти, в белой рубахе, подпоясанной рушником в честь праздника.

– Отведи лошадей на конюшню да сена задай… Стой! Ты не помнишь, у кого на соседней улице баба брюхатая?

– Так у Ермаковых, – бросил паренёк и обратился к Егору: – не сумлевайтесь, вашблагородь, мы вашему коняке и сенца, и водички дадим.

За Гришкой в конюшню направился и Степан со своей уже распряжённой кобылкой.

– После, после пойдёте по своим больным, а сейчас не обессудьте, нужно молодых уважить… Сейчас все из церквы возвернутся, нужно встретить. Гришка! Готовь просо!

Свадебный поезд, украшенный звонкими колокольчиками и цветами, они услышали издалека. Завертелось, закружилось, запело всё вокруг. Люба с Егором стояли в стороне, а Олеся, быстро освоившись, уже пела вместе с девчатами:

Ой, Галочку маты родыла
Соничком обгородила,
Месяцем подпыризала,
За дружками посылала…

Невеста, в красном костюме, с веночком на голове, действительно была самой красивой. Рядом с ней стоял не молодой, но статный жених, явно с достатком – в модной чёрной двойке, под которой виднелась шёлковая, расшитая рубашка. Девушки, все как на подбор, чернобровые, высокие, некоторые с венками из искусственных цветов, а некоторые с помпонами, увлекали за собой чубатых парней в разноцветных шароварах, чтобы водить хороводы возле молодых, напевая протяжные, мелодичные песни.

Любе казалось, что она попала в прошлое. Знают ли эти весельчаки, что идёт злая война, безумная революция разрушила последний порядок, а по улицам Киева голодные, в плохонькой одежонке беспризорные ребятишки, как стая воробьёв, перелетают с улицы на улицу в поисках пищи?

Но, приглядевшись, она заметила и увечья мужчин, и шрамы на красивых лицах молодых парней, и грустные глаза жёнок в чёрных платках, стоящих поодаль, которые, видно, не дождались своих мужей с войны. Они обо всём знали, но разве можно остановить жизнь? Никак невозможно. Хотелось и ей забыться и хоть на один миг окунуться в это счастье. Люба сдёрнула платок и, распустив свои светлые, как лён, волосы, с удовольствием надела венок, что подала ей оказавшаяся рядом девушка.

– Снегурка, иди к нам! – крикнула из хоровода Олеся.

Люба шагнула вперёд и ощутила, как её подхватил, завертел весёлый вихрь. Только и успела подумать, а где же Егор? Но в следующий миг и это перестало иметь значение – так она была счастлива.

Глава 14

“Если когда-нибудь у тебя билось сердце от счастья, то вот что сейчас творится со мной…” (“300 писем”)

Егор не танцевал. Устроившись в тени большого дома, он расстегнул китель и, глядя на хоровод незнакомых парней и девчат, перенёсся мыслью в родную станицу. Туда, где он был своим. Не так давно он так же смеялся и шутливо толкался с дружками, заигрывал с красивыми, нарядными казачками… От собственного одиночества ему стало немного грустно. Но грусть была смешана с неясной надеждой на будущее, на какое-то неведомое счастье… И предвестницей этого счастья была Люба.

Её неожиданный, нежный образ, со светлыми распущенными волосами, украшенными венком, как короной, окончательно приворожил его. Вот она какая на самом деле… Прячется за серое платье да белый халат докторши, а сама, как подснежник, – хрупкая, гибкая и на вид – почти девочка… Вдруг захотелось её защитить, оградить от всех невзгод и злых людей…

Во время застолья их посадили вместе. Он хотел заговорить с Любой, но её всё время смешили местные хлопцы. Польщённые её звонким смехом, они рассказывали анекдоты ещё и ещё. Впервые Егор ощутил досаду не от её замкнутости, а наоборот – от её открытости. Она напоминала птицу, вырвавшуюся из клетки. Праздник, такой редкий в нынешнее время, обнажил её весёлый нрав, о котором Егор и не подозревал. В конце концов, подстрекаемый ревностью и чтобы завладеть её вниманием, он заговорил с ней о брате. При упоминании Саши Люба перестала слышать остальных, а её взгляд стал по-матерински нежным и чуть испуганным – как он там без неё?

– Да всё будет нормально, не волнуйтесь, Любовь Матвеевна, Саша уже взрослый, – прошептал Егор в ответ на её немой вопрос.

Она вздохнула и покачала головой.

– Хоть бы тётя согласилась к нам переехать. Что ей в дремучем-то скиту делать? А так хоть за Шуркой последит.

– Когда вы хотите ехать в монастырь?

– Давайте завтра здесь проведём день, а послезавтра, если всё нормально будет, поедем.

– Хорошо…

Затянули протяжные свадебные песни. Однако за столом молодёжь долго не сидела. Стоило гармонисту растянуть со стоном меха, как девчата с парнями высыпали на улицу.

Егор снял китель и остался в одной белой рубашке, чтобы не выделяться из толпы. Так и танцевать было сподручнее – теперь он Любу не отпускал. Он кружил её, и в вихре танца казалось, что она, тоненькая и лёгкая, как пушинка, едва касается ногами земли. Точно снегурка. Только сердце у неё горячее…

По душе пробежала дрожь… Она же обручена. Вот и колечко с сапфиром на тоненьком белом пальчике… Но где же её жених ходит-бродит? Может, и погиб давно. А он, Егор, здесь, рядом с ней. Нет, всё будет хорошо, – шумно выдохнул он, вспомнив, что нужно дышать.

Люба почувствовала его взгляд и ласково кивнула. Егора охватила нежность. Когда-то, в далёком прошлом, нежность уже вспыхивала тёплым огоньком к Марфе, а потом вместе с ней умерла. Сейчас этот огонёк вновь зажёгся, высвечивая его жажду безудержного счастья, сродни бешеной скачке. Вот так бы мчаться и мчаться наперегонки с жарким степным ветром по широкой, вольной дороге к любимой…

Егор задержал на лишний миг в руках Любины пальцы, и, когда она обернулась, приподняв пшеничные брови, понял, что пропал – никого другого в конце этой дороги он не видел.

Её образ – умной, нежной, глубокой женщины, – как мозаика, окончательно сложился в его душе…

К Любе подошёл “гарный” черноглазый хлопец, с тоненькими, будто нарисованными усиками, и бесцеремонно взял её за руку.

– Потанцуем?

Но Люба ответить не успела. Кто-то предложил играть, и все согласно зашумели:

– Хлибчик, хлибчик!

На широком дворе стремительно, толкаясь и хохоча, стали выстраиваться парни и девушки. Любу перехватил тот самый кавалер, а Егор, досадуя, стал оглядываться в поиске пары.

– Егор Семёнович, вставайте со мной! – подбежала Олеся, уже красная от плясок.

Взяв девушку за руку, Егор быстро подскочил к игрокам.

В начале парной колонны остался стоять одинокий хлопец. Он уставил руки в боки и гаркнул на всю улицу:

– Пеку-пеку хлибчик!

– А выпечешь? – крикнула задняя пара.

– Выпеку!

– А убежишь?

– Посмотрю!

Под поощрительные крики парень и девушка сорвались с места и побежали вперёд, чтобы соединиться впереди колонны, но “хлибчик” ловко перехватил девушку и встал с ней в пару. Игра началась заново. Егор не кричал – он высматривал Любу. Получится ли поймать её? К счастью, Олесю перехватил очередной ведущий.

– Пеку-пеку хлибчик! – зычно крикнул Егор, чувствуя, как бьётся сердце…

Люба бежала прямо на него… Вот уже тот самый, тонкоусый, тянет к ней свою руку, но Егор хвать! – будто бабочку сачком, – поймал Любу.

– Наконец-то, – прошептал он, чуть сжимая её тонкие пальцы своей большой ладонью, – теперь не отпущу…

Так и веселились: то играя, то вновь принимаясь танцевать. Вскоре гармонист ушёл к новобрачным за стол, и, обмахиваясь платками, девчата с парнями разошлись в разные стороны двора. Егор с сожалением отпустил Любу.

– Откуда приехав, казак? Нежто с самого Дону? – услышал он сзади и обернулся.

Насмешливо, но незлобиво, лузгая семечки, спросил молодой парень, одетый, как дружка жениха – в вышиванку, препоясанную рушником.

– Как догадался, что я с Дону?

– Что я донца от нашего кубанца не отличу? Вон у тебя шаровары с лампасами да папаха с красным верхом… Какими дорогами к нам попал?

Разговаривая, они отошли в тенёк и уселись на небольшую скамью возле плетня. Вскоре к ним подошли другие парни, среди которых Егор разглядел и своего кубанского сородича.

– Здорово, вашблагородь, – быстро вскинул руку к папахе кубанский хорунжий, – откуда в наших краях?

– Докторшу с повитухой привёз, – кивнул в сторону смеющихся девушек Егор, выискивая Любу глазами, – вот, решили заночевать в вашем селе. Не прогоните?

– Чай, не враги, – усмехнулся хорунжий, – будем знакомы?

Егор представился. Назвался и хорунжий:

– Назар Хижняк.

– Хижняк – это хищник, вроде, – улыбнулся Егор.

– Ага, он самый.

– Какой же ты хищник?

– Тебе какой по нраву? – прищурился хорунжий.

– Смотри, не прогадай, вашблагородь, – зашумели его товарищи, – он у нас хитрый и зубастый!

– Может, леопард? – притворяясь испуганным, спросил Егор.

Назар – невысокий, но коренастый, уже с намечающимся брюшком, – действительно, своими плавными движениями походил на крупную кошку. Такое сравнение ему польстило.

– Может, и леопард, а что? Кто против? – оглянулся он на своих дружков.

Но все были только “за”, согласно загудев.

– Слушайте, раз такое дело… – встрепенулся один из парней, – давайте игрища устроим? А? Егор Семёнович, не испужаешься?

– Чего мне бояться… Как биться хотите? На кулаках?

Парни всколыхнулись и сразу бросились предлагать, кто против кого.

– Стойте, оглашенные,– скомандовал хорунжий, – не хочу морду портить в праздник. Давай, Егор Семёнович, вдвоём с тобой схлестнёмся – скачки с монеткой… Не против, есаул? Тогда веди своего коня.

Егор накинул китель на плечи и пошёл к конюшне. Ворон уже успел отдохнуть, поэтому с удовольствием пошёл вслед за хозяином на волю. Но увидев столько людей, вдруг встал на дыбы.

– Он у тебя не объезжен, что ли? – удивился Назар, подъезжая на гнедой кобылке.

– Объезжен, не волнуйся, не подведёт.

– Так это ты волнуйся, вашблагородь, а моя-то Лыська с полуслова всё понимает… Н-но, пошла, красава!

Егор и вправду немного волновался – Ворон ещё был слишком своенравен. Хорошо, что хоть Егор выгуливал его за городом в свободное время. Там и приучил не бояться, когда хозяин вставал ногами в седло или делал “вис”. Без этих навыков в бою никак – шашку выбьют из рук, подхватить её можно только на ходу, иначе подстрелят или зарубят. Умение же скакать стоя в седле не раз выручало, когда перебирались вброд через реку.

Галопом они с хорунжим доехали до широкой сельской дороги, где вдали уже была расстелена чёрная бурка с заветными призами. Парни и девушки сгрудились вокруг них в предвкушении увлекательного зрелища.

– На полном скаку взять хлыст, доскакать до во-о-он той корявой берёзы, сорвать ветку, а на обратном пути поднять монету, – объявил рыжий хлопец, поигрывая плёткой.

– Показали бы хоть, как она выглядит, – удерживая на месте нетерпеливого жеребца, заметил Егор.

– Монета как монета, чего на неё смотреть? – оскалился в ехидной улыбке хорунжий, – серебряная. Разглядишь небось. Давай, становись…

Они подъехали к заветной черте. На миг показалось, что он уже в родной станице – это яркое небо, неподвижная весенняя зелень, залитая ярким солнцем, молодые голоса, смех, все – родное, знакомое… Сердце заныло сладко и больно от тоски по дому…

– Кто возьмёт хлыст – пять рублёв, кто монету – десять! По щелчку хлыста… Гото-о-овсь! Марш!

Сорвавшись с места, Егор перестал видеть мир. Он уже был не человеком, а словно кентавром – единым целым с конём, ощущая каждый мускул его и своего натренированного тела. Топот копыт стал для него музыкой с ровным, понятным ритмом…

Хорунжий скакал чуть впереди, но Егор не волновался. Он разгадал замысел хитрого кубанца – тот задумал, конечно, схватить плётку, надеясь, что монету Егор подхватить не сможет. Зря надеется…

Однако Ворону не понравилась пыль, летевшая в ноздри. Конь громко фыркнул и вдруг свернул в поле…

– Куда? – натягивая поводья, крикнул Егор.

Сзади послышалось улюлюканье. Егор, не снижая скорости, направил норовистого жеребца прямо к берёзе. Краем глаза он заметил, как Назар ловко сделал “вис” и схватил плётку. Снова заскочив в седло, он победно поднял её над головой и поскакал к старой берёзе. Но Егор уже вошёл в прежний бешеный ритм и приближался к заветному дереву, намного опередив хорунжего.

Ближе… ближе… ещё чуть-чуть… Оттолкнувшись от стремян, он запрыгнул на подушку седла ногами и медленно выпрямил колени. Одной рукой он держал поводья, а вторую, с зажатым в пальцах ножом, вытянул вверх… Вот и берёза… Ловко полоснув по ветке, Егор отпустил повод и поймал её второй рукой. Всё… Теперь аккуратно садимся и назад. Молодец, Воронок… А вот и хорунжий…

Скача назад, к бурке, Егор не удержался и оглянулся на соперника. Назар тоже неуловимым движением поднялся на ноги, но почему-то не вытянул руку и проскакал мимо берёзы. Ещё одна попытка… Оп! Упал! Не повезло… Так, теперь самое главное – монета…

Он увидел её издалека – серебряный рублик поблёскивал на солнце. Не медля ни секунды, Егор плашмя упал поперёк седла и поводьями направил Ворона прямо на чёрную бурку. Тот заупрямился, но Егор дёрнул удила и повёл по-своему. Всё это свершилось за короткий миг, и в следующее мгновение он схватил монету.

Девчата забросали его цветами. Он улыбался, благодарил и искал глазами Любу…

– Повезло тебе, есаул, что я упал, – криво улыбаясь, выдавил Хижняк, подъехав на своей кобылке.

– Назар, у тебя брюхо перевесило, слишком много съел на свадьбе, – дразнили парни, напоминая своим гоготом жирных белых гусей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.